

**СИН
ТАК
СИС**



31

*Наше дело – левое,
победа будет за нами!*

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

31

ПАРИЖ

1991

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

**The League of Supporters: Л. Баткин, Л. Богораз,
Т. Венцлова, Ю. Вишневская, И. Голомшток,
А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская, П. Литвинов,
М. Окунько, В. Турчин, А. Френдли, Е. Эткинд**

Московский представитель журнала – Татьяна ТОЛСТАЯ

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1991

Адрес редакции :

**8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

tel: (1) 46.61.28.38

М. Розанова

ПЕРЕВОРОТ...

Сегодня 20 августа... Второй день в нашем доме обрывают телефон журналисты: "Господин Синявский, ответьте на три вопроса: были для вас московские события неожиданными или вы что-то предчувствовали? Чем все это кончится — каковы ваши прогнозы? И в-третьих, что должен делать Запад?"

А Синявский не пророк и не футуролог. Не его это дело — политика. Но сегодня нам хочется сказать очень многим людям и на Западе, и в нашей стране: граждане, куда вы смотрели раньше? Почему вы не хотели увидеть некоторые вещи, очевидные даже для нас, невежественных в политике людей? Старались не думать о неприятном? О страшном?

Я не помню точную дату, но было это в наш последний приезд в Москву, в середине ноября прошлого, 90-го года. В доме покойного друга Даниэля, где мы всегда останавливаемся, собралась небольшая компания достаточно осведомленных журналистов и депутатов. И вдруг в комнату влетел опоздавший гость и с горьким смехом воскликнул: "Дамы и господа! Я вас поздравляю с военным переворотом!" Как? Что? Почему? Оказывается, наш депутат (он же журналист) сумел получить информацию со встречи Горбачева с представителями армии, на которой Горбачев пытался найти с ними общий язык и не сумел. Военные победили.

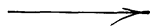
Мы ждали немедленных репрессий, но сегодня негодяи стали умнее: они не торопились, им надо было всем своим дей-

ствиям придать вполне законный характер: они не сместили Горбачева, они сделали его марионеткой (или, как теперь говорят — заложником). Это и был военный переворот — зимой. А дальше посыпались странные назначения: Павлов, Пуго, Громов и вице-президент Янаев. Спрашивается, зачем стране, которая еще обыкновенного президента не очень-то освоила, понадобился этот вице? Мы же не какая-нибудь там Америка! Ответ один: чтобы был законный преемник власти, если вдруг с президентом что-нибудь случится. Но если вся команда назначена тобой под давлением и тебе уже подготовлен наследник — значит, быть беде.

На Западе принято думать, что переворот — это дело мгновенное, но мы не Запад, у нас все не так — и шизофрения у нас в основном вялотекущая, и экономика — вялотекущая, и переворот, естественно, такой же — вялотекущий... С декабря прошлого года мы спрашивали у многих советских журналистов, писателей, депутатов: "Кто руководит страной?" — и чаще всего слышали в ответ — "не знаем". В стране около года орудовало "теневое правительство", и никто об этом всерьез не задумывался. Теневое правительство было преступным и вороватым. Чего стоит, например, искусственно созданный в стране продовольственный кризис? А он на большой процент — искусственный...

А параллельно — уход из президентской команды Шеварднадзе, уход Яковлева... И это тоже был переворот! А рядом — переворот на телевидении. И все это на густом фоне активизации "русских патриотов", оголтелых призывов к расправе над Яковлевым и Шеварднадзе, при расцвете националистических газет, на фоне охоты за русофобскими ведьмами... Когда мы говорили, что "Литературная Россия", "Советская Россия", "Молодая гвардия" — это очень серьезная опасность, от нас отмахивались: мол, все это чепуха: вот у нас, у демократов, победа на одних выборах, на других — кто же обращает внимание на это идиотское меньшинство? Ни российские демократы, ни западные советологи, ни даже сами избранники — не хотели думать, что власть-то выбиралась без реальной власти, что рычаги уп-

События развиваются с такой скоростью, что пока печатались первые страницы журнала, стало необходимым кое-что прибавить, что-то уточнить. Поэтому продолжение данного материала мы переносим в конец номера.



Вл. Новиков

РУСОФОНИЯ

О великий, могучий, правдивый, свободный... заик!..

В. Соснора

И вот опять мы с ним одни во дни тягостных размудий...
Опечатка, но ничего: так даже точнее получается.

Немного — языком о языке.

Французы сильно пекутся о "франкофонии": хотят хорошо звучать. А мы что же — опять отстали?

Предлагаю понятие русофонии. С ним многое становится яснее. В частности, нейтрализуется оппозиция "русофилия — русофобия", разом два зайца убивается. Русофония — это, извините за выражение, архисема; и русофилов и русофобов она с материнской нежностью охватывает и обнимает.

Как звучим?

На краю Цюриха, около станции Тифенбруннен (Глубокие Колодцы по-нашему), какой-то полиглот начертал краской на бетонной стене подземного перехода приветствия: вилькоммен, узлкам, бьенвеню, бенвенуто и так далее штук десять. Есть тут и одна кириллическая надпись: добро путованье. Но, позвольте, где же родимое наше "добро пожаловать", с которым мы всегда встречали посланцев далеких широт, открывая им двери, ворота и сердце от Москвы до самых до окраин, то есть до колымских лагерей?

Нету. Мудрым познанием отозвалось слово британца, легким щеголем подлетело недолговечное слово француза, вставил свое умно-худощавое слово немец, подсели к ним за хорошо сервированный стол поляк, болгарин и венгр, а русское слово вырвалось из-под самого сердца, кипело, животрепело, да так никуда и не попало: осталось за дверью.

В витринах всяких заграничных агентств часто видишь аккуратный контур Европы с разноцветными странами, кружочками столиц. А справа от Польши и Чехословакии — ничего. Пустое место, обрыв, провал. Посторонились, дали нам дорогу другие народы и государства — дорогу в пропасть.

В странах бывшего лагеря сильный романо-германский бум. Учителя иностранных языков процветают. И только русисты на мели.

Бывшие товарищи и нынешние господа! Мы понимаем и разделяем вашу любовь к языкам Шекспира, Мольера и Петrarки. Но за что Толстого и Чехова так вы обижаете? Нет, ребята-демократы, вы не совсем правы. Не учить русский язык только за то, что им разговаривал... Не все же мы оккупанты!

Не слушают. Оказывается, жизнь развивается не по законам художественной литературы. А мы-то думали...

На улицах Цюриха русофония невелика. За пределами университета родную речь не услышишь. Разве что у главного вокзала вдруг раз в сто лет прорежет тишину и спокойствие парочка нервно-восклицательных предложений:

— А еще паспорта сдавать надо! На черта мне все это нужно!

Сказывают, однако, цюрихчане, что этим летом шустрят по городу молодчики из СССР. Позвонят в дверь, предлагают купить какой-нибудь хлам или просто попрошайничают. В крайнем случае согласны жениться. Щедро предлагают свою нечистую руку и корыстолюбивое сердце. Нехорошей русофонией потянуло...

Включил телевизор, французскую программу. Идет передача вроде нашего бывшего "Голубого огонька". Пожилая актриса с большим чувством спела: "Давай пожмем друг другу

руки...” А молодой ведущий ей говорит: мерси, дескать, мадам, за исполненный вами шансон слав.

‘Славянская песня’! Это уже совсем как невзоровское ‘лицо кавказской национальности’! Что же, в нашей, можно сказать, почти родной Франции уже забыли, что такое романс рюс?

Может, не ехать в этот Париж?

В маленьком Кюснахте все жители здороваются друг с другом на улицах. Идем как-то вечером, русофоним во весь голос, как у себя дома. Спешит на поезд девушка и вместо обычного ‘Грюёци’ бросает нам на ходу ‘буонасэру’. За итальянцев приняла.

А вот еще в магазине, услышав непонятный разговор, продавец обращается к нашей приятельнице: ‘Хорошо вы говорите по-испански!’ – ‘Нет, это по-русски’. – ‘О, дас ист феномен!’

Неужели мы из феномена (явления, сущности) действительно превратимся в феномен (диковинку, редкий случай)?

В языке Виктора Сосноры, стихи которого я так часто и охотно беру в собеседники, особенное значение имеет слово ‘латынь’:

.. Лишь сталь лица
и палец-бумеранг...
Листается
латынь моих бумаг!

Или:

Будь ты проклят, птиц-заика, Nevermore есть слово знака,
из латыни льдинка звука, – испаряется вода.

Я раньше думал, что это только стилистическая автохарактеристика поэта: твердость звучания и синтаксическая свобода. А тут вот задумался: что если язык великой нашей поэзии и прозы окажется лишь объектом филологического изучения, своего рода латынью, античностью? Ведь Третий Рим-то лопнул по всем швам, империя тронулась в порядке – и не-

обратимо. Сменится наш язык каким-нибудь упрощенным диалектом, а самодовольным литераторам, гордящимся случайным национальным родством с классиками, человечество скажет по-латыни: нон омнис грекулус Гомерус, т.е. не всякий, ребята, грек — Гомер.

Оно конечно, мы все идеалисты, верим в чудо, а не в экономический базис. Но история как-то не знает примеров, чтобы великий язык был надолго дан отсталому в хозяйственном и культурном отношении народу.

Русофония утихает. Отзвучали идеологические иероглифы "perestroika" и "glasnost", а непосредственно-деловая нужда в русском языке невелика. Что на нем можно прочесть, кроме литературных шедевров? А литературные шедевры и на своих языках не каждый иностранец читает. Что же касается совместных всяких хозяйственных предприятий, то в них советская сторона почему-то представлена бывает Чичиковым или Хлестаковым. И иностранный пайщик прибегает к услугам переводчика-русиста разве для того, чтобы составить такой примерно текст: "Неуважаемые советские партнеры! Год назад вложил я в ваше дело свою трудовую валюту. Вы обещали прибыль и вообще тридцать пять тысяч курьеров. Между тем за год ничего не сделано, и сдается мне, что плакали мои денежки. Верните, супостаты, хотя бы половину, а то судиться с вами себе дороже станет".

Естественно, такое письмо оказывается последним, и престиж русского языка...

Старые, лежалые слова "перестройка" и "гласность", выданные за неологизмы, продержались недолго. Облупились положенные на них румяна, и отбывают сии лексемы в разряд устарелых.

Горбачевская "перестройка" угасла тихо, как подпорочик Кижэ: перестройКИ ЖЕ не было. Из этого слова ненароком выпал один звук, и получилась не перестройка, а перестойка. Так бывает, когда человек очень долго хочет, а вместо удовлетворения желанья получает одни обещания. Симптомы перестойки: раздражение, усталость, невосприимчивость к новым посулам. Преодолеть это состояние можно только одним способом — отвлечься, забиться и заснуть.

Так или иначе, команде Ельцина предстоит придумать что-то другое, отличаться по части словотворчества. Правда, с лингвистическим обеспечением и у демократов не все в порядке. Кто придумал для книги Ельцина чудовищно-неуклюжее название "Исповедь на заданную тему"? И Собчаку литпомощники тоже удружили — "Хождение во власть". Слова топорщатся, не хотят сочетаться. А за неблагозвучием, может быть, и смысловое неблагополучие таится. Как исповедаться "на тему", да еще "заданную"? Можно подумать, что другие, неприятные темы здесь обойдены, что полной искренности нет. А "Хождение во власть", задуманное, очевидно, по аналогии с хождением Богородицы по мукам, невольно звучит как непринужденная прогулка: сходим во власть, а не понравится — так и уйдем.

Свежие газеты из Москвы. Но если бы свежие! Статьи по большей части какие-то запыхавшиеся, потные, раздраженно-говорливые и глуховатые к собеседнику. Монотонный монолог все о том же: без Бога ни до порога, без Ленина со Сталиным ни одного номера ни одного издания. Выдумки на грош, остроумие по большей части с истекшим сроком годности.

Опять своих обижаю? Да нет же, я занимаюсь грамматическим разбором. А "Молодая гвардия" или альманах "Кубань" для этого не годятся как неуспевающие по русскому письменному. Итак, почему же перестроечная речь так слабо кристаллизуется в язык, почему она полностью вытекает в никуда? Почему из блестящих наших прогрессивных публицистов ни один не умеет хорошо писать? Говорить — да, питаюсь электричеством массы, произнося то, что все заранее готовы услышать... Но попробуйте перечитать недавние вольнодумные сенсации: никакой энергетики. Согласен, что язык публицистики весь в презенсе, что на будущее время он не претендует. Но почему бы и на конвейер злободневной речи не поставить иной раз словечко подолговечнее? Чтобы впились в память и в душу если не афоризмы, то хоть какие-нибудь словосочетания, пригодные для отважного познания жизни, для еще более решительного преодоления идейного идиотизма.

Не скрывается ли за языковой бесхарактерностью недостаток умственной и душевной смелости? Не свелась ли роль публицистического слова к обозначению новых границ разрешенной свободы?

Иногда подозрение закрадывается, что наше прогрессивное слово как бы запрограммировано изначально на провал прогресса, его поражение. Дескать, я вам, дуракам, говорил, а вы не послушались. Мазохистский характер всех предыдущих периодов освободительного движения дает себя знать.

Ну, а если вдруг действительно получится в России демократия? Тогда ведь уже не отделаться однообразными филиппиками по адресу бездарных властителей. Или опять будем изображать невинность, как в случае с Горбачевым? Дескать, полюбили мы его (Ельцина, Попова, Собчака...), а он оказался нехорошим. Ведь пока у нас навыков честной и конструктивной критики демократии (то есть не только кратии, но и демоса, но и самих себя) просто нет. Нет языка такого, когда слово уже есть дело, а не обещание его.

Вообще я выделяю в современном русском языке две основные разновидности: АПЛОМБ и НАИВ.

Апломб — это язык, подразумевающий, что говорящий знает и понимает нечто такое, чего не знают и не понимают другие. Апломб встречается в политике, в поэзии, в быту — везде. Владеть этим языком нетрудно, поскольку требуется только подразумевать нечто, но не высказывать его. Чтобы тебя зауважали, крайне нежелательно изрекать что-то непривычно-царапающее, выходя за пределы действующего в данный момент набора удобных общих мест.

Порою я думаю: может, и мне перейти на апломб? Ведь лексику и морфологию этого языка знаю вдоль и поперек. Но нет, не хочется. Слишком чувствую в этой солидной речи привкус омертвляющего свинца (*à plomb*), зависимость от чужого слова и взгляда.

Мне как-то природнее беседовать на наиве. "Наивный" — от слова "nativus", естественный. Ничего не подразумеваю и не обещаю. Здесь, на этой странице, мой Родос, здесь я и прыгаю от слова к слову, со строки на строку.

Апломб предполагает усвоение готовой роли, функции. Тирана-притеснителя или царя (президента) — освободителя, выразителя чего-нибудь там, совести эпохи, любимца публики или скандальной "бяки", властителя дум, борца или борца с борцами. Наив же есть функция неизвестного. Наивна новизна, наивны Хлебников и Айги. Мне кажется, существует и своего

рода научная наивность, когда кто-то позволяет себе отсебятину, порождает утверждения, не выдвигающиеся ранее. Очень ее мало, этой наивности, в моем родном литературоведении, которое сегодня сплошь запломбировано апломбом.

Апломб надежнее: из него складываются вечные окаменелые слои культуры. Наив всегда сопряжен с риском: живое невосомое слово может улетучиться, непонятое и нерасслышанное.

Наиву нужно только свое место. Пусть его сочтут последним, я и на последнее согласен.

Всякая дихотомия условна и схематична. Я, конечно, опять забыл про "Наш современник". Тут тоже апломб, но совершенно лишенный интеллигентности и артистизма и по этой причине сугубо сердитый. Его можно обозначить как ОЗЛЮБ.

Сдается мне, что значительный перевес апломба над наивом сильно отяжеляет и приглушает русофонию. В нашей текущей литературе и журналистике господствует какой-то странный гибрид невнятицы и широковещательности, косноязычия и позерства. Варимся в собственном соку, и довольно жиденьком притом. Отъедешь же немного в сторону, посмотришь отсюда: ну просто черт знает что такое.

С одной стороны — потуги на глобальность и всемирность, которые день ото дня и век от века все смешнее становятся. Ведь у нас, пожалуй, нет ни одного пишущего, который совершенно был бы свободен от иллюзии, что он человечество своей духовностью спасает. Пусть не один, а за компанию с Достоевским и Пастернаком, но спасает всенепременно.

С другой стороны — мелочность коммунальная, тусовка, междусобойчик. Русские журналы — и в СССР, и за рубежом — становятся все более провинциальными. Не столько перед лицом Запада, сколько перед лицом русского языка и литературы. Где наша столичность, столикость, блеск, изобретательность, состязание умов? Все осмысляем отечественный маразм, считая его самым маразматическим в мире — амбиция сомнительная.

Комплекс неполноценности и комплекс превосходства растут, как известно, из одного корня. И вот ведь какое стран-

ное дело: наши прогрессисты, очутившись в Европе, вдруг начинают высокомерно третировать "буржуазность", изъясняться с акцентом чуть ли не молодогвардейским. И стихов таких пишется множество, а вот и прозаик Виктория Токарева авторитетно заявляет на страницах "Огонька": "Запад более однороден. И более скучен. Разговаривать "по душам" считается признаком дурного тона".

У меня на этот счет совсем другой опыт, но не обобщаю, а просто невольно задумываюсь: на каком языке говорила писательница с бездушными представителями однородного Запада? Я даже не собственно лингвистическую сторону проблемы имею в виду, а степень человечности общения. Придет ли время, когда мы станем смотреть на иностранца не как на высшее и не как на низшее, а как на нормальное, равноправное нам существо? Не теоретически (теории здесь ничего не стоят), а практически, при каждой встрече, в каждой мысли и в каждом душевном движении?

Один из отличительных признаков советского писателя — незнание иностранных языков. Точнее — невладение ими в творческих целях: если кто и выучил какой-нибудь иняз, то как чужой, меж тем как для писателя настоящего все языки — свои. Так было в русской литературе со времен Тредиаковского и Ломоносова до времен Пастернака и Набокова. Когда Блок провозглашал: "Нам внятно все: и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений", — то под "нами" он имел в виду не СП РСФСР, а тех, кто свободно читает и по-галльски, и по-сумрачному.

Все-таки не случайно, что бесспорные классики уходящего века, те, кого мы по случаю столетних юбилеев чествуем скучноватыми спичами: и те двое, что с Рильке вели эпистолярные беседы, и авторы "Анно Домини" и "Тристий", и романтический мастер, не получивший ни одной творческой командировки за рубеж и для забавы писавший своей жене по-итальянски, — все они были полиглотами. Может быть даже, что их культурная широта в какой-то степени передалась лучшим мастерам современной словесности, не державшим в руках оригиналов "Гамлета" и "Фауста".

Но лингвистическая ограниченность нашей литературы порой сказывается — и в незнании реальной западной жизни, и в

недостаточной гибкости языкового сознания, непривычного к глубоким сопоставлениям с иными сознаниями. Отсюда — фетишистический трепет перед иноязычными лексемами, неважно, с каким знаком, положительным или отрицательным. Борьба с засильем чужеземных слов — ровно такая же нелепость, как бездумное ими кокетничанье без понимания корней и внутренней формы.

Занятна эволюция лингвистических взглядов Солженицына. Вспомним Сологдина из романа "В круге первом", с тонким остроумием переводившего иностранного "инженера" в славянского "зиждителя". Или приводимые в "Архипелаге" остроты соловецких ссыльных, вроде "à lager comme à lager": русский язык становится полем межъязыкового францужско-немецкого каламбура; при всей горькости этой шутки, сколько в ней внутренней свободы!

И вот — тот же самый писатель вдруг убоился невинных словечек вроде "истеблишмента" и завет "расширять" язык при помощи компьютерного набора выписок из Даля. Самое парадоксальное в этом, что автор "Ленина в Цюрихе" по существу сходится со своим персонажем, заявлявшим: "Русский язык мы портим" и призывавшим, если не путаю, заменять слово "дефект" словом "недочет".

В чем же главный дефект и недочет подобной позиции? Знаю, что многие отъявленные "западники", подшучивая над нею, сами все же побаиваются непонятных иноязычных словес. В непомерной гордыне, в преувеличенном представлении о нашей власти над языком, который мы якобы можем испортить или улучшить. Меж тем испортить язык можно только пошлостью и бездарностью говорящего или пишущего. И то — испорченным окажется его собственный язык, язык группы, клана, но не русский язык в целом. Если мы верим в то, что слово — это Бог, — так давайте оставим Богу Богово, а сами будем кесарями только своих индивидуальных текстов. Русский язык лучше нас знает и чувствует, что ему нужно взять в других языках и чего не надобно.

И вообще, почему многие писатели убеждены, что "работа над языком" пролегает прежде всего в русле лексикологии? Разве Пушкин или Достоевский отдавали предпочтение каким-

нибудь лексическим группам? Нет, не за Далем — даль, не в слове, выписанном из словаря на карточку. В языке поэзии и прозы неизмеримо большую роль играют фоника (включая интонацию), игра грамматических форм и, конечно, синтаксис*. Между прочим, у большинства нынешних русских модернистов по-школьному правильная и скучная грамматика (маловато смелых трансформаций), а синтаксис развивается только в одну сторону — непомерного наращивания фразы в длину. Все-таки бояться русский язык "исказить" и сказать тем самым настоящему новое и свое.

"Языковое расширение" возможно только в одном направлении — все большей раскованности и естественности. Расшевелить свой единственный грешный язык — вот задача, решение которой целую жизнь может заполнить и сделать нескучной. А что до лексики — так любые ее слои суть равноценные материалы, будь то славянизмы, диалектизмы, экзотизмы, варваризмы, жаргонизмы, изысканные литературные обороты или матерщина.

Кстати, о последней. Минули те времена, когда сильные выражения можно было встретить только на стенах общественных павильонов да на страницах зарубежных изданий. Энергичное слово возвращается под родную сень, обретает понемногу советское гражданство. Правда, редакторы, чтобы как-то оправдать целесообразность своей профессии, норовят натянуть в текст многоточий или принудить литературных репатриантов к изобретению стыдливых эвфемизмов. Обедняют русофонию! Где же мера и где предел, сколько мата допустимо употребить на страницу, на печатный лист?

Столько, сколько сможет автор освоить, преодолеть, растворить в собственной речи. Проблема исключительно интонационная: эвфония получается или какофония. У фразы есть свое благоухание, и неблаговонная лексика нуждается в санобработке. Одному удастся отбить дурной запах саркастическим гекзаметром (поэма В. Сосноры "Мой милый"), другому — четырехстопным хореем позднего Баратынского (Тимур Кибиров), третьему же не удастся это сделать ничем: не хватает естественности, и матюгается он, как мальчик из приличной

* Конечно, конечно же "Синтаксис"! (Прим. ред.).

семьи, попавший в дурную компанию и притворяющийся там своим.

В современной прозе лучше других удавалось справиться с матом, как и с эротической сюжетной темой, Э. Лимонову: я имею в виду "Эдичку", "Подростка Савенко" и "Молодого негодяя". Сейчас Лимонов как-то неудачно анфантериблит в советской прессе, немного заигрался он на фальшиво-идеологических струнах. Но все равно — лучшие его вещи продолжают звучать. Особенно это чувствуется, когда вечером в одиночестве открываешь книгу в комнате, не оглашавшейся ранее русской речью. Тут русофонию ощущаешь просто физически: одни книги музыкально звенят, другие — молчат или производят какофонические потуги.

Все хорошо знают речевые особенности наших президентов. (Кстати, сколько их теперь? Мне уже кажется: вернешься в Москву, и там все до одного человека — президенты.) А как звучала, скажем, речь Петра Первого? Хотя магнитофонных записей петровского времени не сохранилось, речь инициатора первой перестройки довольно точно описана в книге М.В. Панова о русском произношении XVIII-XX веков. Но не это главное в книге и во всей работе Панова, а мысль о том, что стабильность языка поддерживается постоянным изменением его норм. Языку свойственно шевелиться.

Когда Михаил Викторович Панов работал в Институте русского языка, он основал целую школу изучения живой жизни русского слова. Но — написал Брежневу письмо в защиту Синявского и Даниэля, причем сделал это в индивидуальном порядке, так что зафиксирован данный факт только компетентными органами. Они же в лице директора института Филина вытеснили тогда Панова из академической системы и порушили его большие начинания. Вот все говорят и пишут об ущербе, нанесенном генетике, кибернетике. А между прочим, в науке под названием "русистика" не меньше дров было наломано. И сейчас — сколько серых филинят сидят в академических гнездах! Языковеды, которые язык "ведают", но не владеют им, не могут членораздельную фразу написать. Но — пишут, и иностранцев учат, и составляют для них учебники какого-то явно не того языка. Заглянул тут в эти идеологизированные и дистиллированные буквари — ужаснулся. Да, не просто все с русофонией!

Слава Богу, есть еще в Европе идеалисты и романтики, за что-то наш язык любящие, мечтающие о путешествии в Россию еще сильнее, чем соотечественники наши рвутся за рубежи. Поговоришь со здешними "русофилами" — и уже не так отчаиваешься при виде того, что делается дома.

Столько лишнего говорим, а главное сказать не успеваем. Русофония отягощена многословием. Чтобы нас слушали и слышали, надо научиться отбрасывать лишнее.

Сколько слов нужно для мысли? Пятьсот страниц, или пятьдесят, или пять? А может быть, и пяти строк хватит?

Как-то говорили мы с М.В.Пановым об одной литературоведческой книге. Я сказал, что все в ней верно и правильно, но если бы о том же самом писал Тынянов, то он не целую книгу написал бы, а всего одну фразу, вот такую примерно...

— А я думаю, что Тынянов эту фразу еще бы и вычеркнул, — добавил Михаил Викторович.

Ладно, и я вычеркиваю много разных фраз, объединяя их в последующий пробел.

Так что же делать с русофонией?

Опять полагаюсь на индивидов, на одиночек. И привожу еще тройку строк процитированного в эпиграфе поэта "с лицом несоциальным":

Я, блюстител фразы, Муза! здесь на чердаке маразма,
где в оконце из мороза
лавр!

Будем блюсти фразу. Как начинающий говорить ребенок. Как постигающий наше кому-то чудное и для кого-то чудное слово чуткий чужеземец. Как выходящий из берегов речи поэт.

Мы долго еще будем связаны по рукам, по ногам. Так, может быть, попытаемся все-таки развязать язык?

Июль 1991 г.

Цюрих



Олег Давыдов

СОФИЯ ПРЕМУДРОСТЬ, НО ТОЛЬКО НЕ БОЖИЯ

Посвящается Ольге Погодиной

Со стороны все было очень глупо
(Я факты рассказал, виденья скрыв).
Владимир Соловьев. "Три свидания"

Кукла для дочери красноармейца

В первой картине пьесы Николая Погодина "Кремлевские куранты" инженер-электротехник Забелин, по случаю разлуки торгующий на импровизированном рынке спичками, провоцирует красномордую торговку куклами так: "Молчат кремлевские куранты... Что вы думаете по этому поводу, сударыня?" Ответ торговки куклами: "У меня тоже с комода будильник упал и остановился. У кого починить, не знаю". По мнению Забелина, это глупость, о чем он немедленно сообщает торговке. Я бы на его месте поостерегся говорить такие вещи женщине, у которой сломались часы. Я бы скорее спросил, почему она уронила свой будильник на пол?

Если у вашей знакомой поломались часы, это с большой долей вероятности означает, что в ее организме случились какие-то неполадки. Погружаясь в свои переживания, она могла нечаянно уронить или испортить часы. Ведь женский организм

— это как раз и есть самые настоящие часы... Впрочем, реальная жизнь слишком сложна, чтобы можно было делать из такой мелочи, как поломка часов, какие-нибудь определенные выводы. Вот если бы женщине приснились, скажем, ее остановившиеся часы, тогда можно бы было более серьезно задуматься о состоянии ее менструального цикла. Да и мужской сон с остановившимися женскими часиками заставляет задуматься. Ну и конечно же, просто приковывает внимание остановка часов в литературном произведении или на сцене.

Ибо в идеальном пространстве, каковым является сцена или страницы книг, всякое действие, всякий предмет, всякая реплика имеют не столько бытовое значение, сколько значение символическое. Я, быть может, ломлюсь в открытую дверь, но поскольку это часто забывается, хочу подчеркнуть еще раз, что на сцене и в книгах действуют не реальные люди, а идеальные сущности, божества. Это идеальное пространство — есть изначально пространство богослужения и богоявления. Оно таким навсегда и останется, сколько бы ни пытались его выхолостить, опустить до быта. Это мир бытия, где нет места ничему случайному. Здесь всякое ружье, повешенное на стену, обязательно выстрелит к последнему акту — если даже автор повесил его только для красоты и ровно ничего не знает ни о какой стрельбе. Конечно, и в нашем обыденном мире за пеленой обыденности присутствует потустороннее бытие, "нетленная порфира", как говорит Соловьев, "под грубою корою вещества". Но в специально выгороженном пространстве, при помощи специального устройства видеть ее удобнее.

Пьеса Погодина начинается репликой торговки куклами: "Куклы атласные, шелковые, парчовые. Лучший подарок детям..." Куклу покупает для своей дочери красноармеец, возвращающийся домой с гражданской войны. Неугомонный Забелин подначивает: "Не много же завоевал, солдат! Куклу да пачку спичек!" Замороженный своими интеллигентскими мифами Забелин не понимает, что солдат завоевал немало. Я бы даже сказал — завоевал слишком много. Лучше бы он не завоевывал для своего потомства, бедный солдат, эту страшную куклу, изготовленную торговкой, разбившей свои часы.

Но все это приписка, так сказать увертюра, то зерно, в котором Погодин спрятал даже не содержание своей пьесы, а содержание всей дальнейшей истории, вплоть до сегодняшнего

дня. Ближе к концу настоящего текста разъяснится и кукла, и солдат, приобретший ее для своей дочери, и эта дочь, и торговка, и многое другое. А пока что давайте посмотрим, о чем вообще идет речь в пьесе Погодина.

Коварный демон экономики

В ней три коллизии, три вставленных один в другой, переплетенных сюжета. Во-первых, чисто любовная коллизия — морячок, воевавший на суше, а ныне — комиссар Рыбаков, любит дочку Забелина Машу. Усилия его любви довольно бесплодны. Он пробует применить силу — запирает Машу на ключ: "Будете сидеть". Но испытанный комиссарский прием в этой ситуации почему-то не действует, получается только хуже. "Откуда такой тон? Вы пытаетесь мне приказывать?" — спрашивает девушка в ответ на большевистское администрирование, и тогда комиссар начинает ныть: "Я вам не игрушка! А такой же, как вы, человек! Вы образованы лучше, чем я, и воспитание у вас никак моему не равняется, но почему-то со мной вы ведете себя страшно грубо". Маша, воплощенная интеллигентская культура, почти что блоковская Незнакомка, пошедшая под именем Катька блудить с солдатней (Забелин: "Если она завтра сделается уличной девкой, я не буду удивлен"), давно уже готова отдаться комиссару Рыбакову, но пока что ей что-то мешает. Она пока только кокетничает: "Ну конечно же я демон... Я коварна и зла!"

Вторая коллизия: с этой первоначальной любовной неудачей большевика в пьесе связана остановка кремлевских курантов. Я уже говорил, что остановка часов означает в пространстве идеальных сущностей задержку периодических процессов в здоровом женском организме. То есть — какую-то болезнь или беременность. О беременности говорить пока, кажется, рано, а вот болезнь... Ленин дает Рыбакову поручение — разыскать часовщика, который мог бы починить кремлевские куранты. Рыбаков "прощупал старую Москву и наконец нашел такого часовщика". Характерно, что Маша, как только узнала об этом, сразу смягчилась и изготавилась перейти к продуктивным отношениям, которых так ждет от нее комиссар Ильича: "Милый, ...с вами очень легко. Почему, не знаю, но вся моя драма окончательно расплылась". Сегодня Рыбаков должен прийти в

дом Забелиных и переговорить с Машиным отцом о женитьбе... Но разве с этим старорежимным ослом договоришься? Рыбаков в глаза называет его саботажником, удивляется — почему его до сих пор не посадили? — он только раскрывает рот, чтобы начать просвещать глупого спеца... как приходят товарищи и без лишних слов забирают Забелина — лечить экономику.

И наконец, в-третьих, коллизия электрификации. Часы оказываются символом еще и остановившейся в результате революции и гражданской войны экономики, которая, вне всяких сомнений, является женским организмом и которую во что бы то ни стало надо заставить работать, закрутить ее циклы. И тут становится окончательно ясно, что речь в пьесе идет не просто о любовной интрижке между рядовым комиссаром и обычной профессорской дочкой, но — о большом всемирно-историческом романе между Владимиром Ильичом Лениным и бывшей Российской империей. Но как ни бьется Ильич, как ни пытается овладеть ее телом и душой при помощи своего половых дел комиссара Рыбакова, Россия пока поддаваться не собирается, ее организм (экономика) почему-то противится страстным усилиям новой власти. Это естественно. Ведь как привык действовать Рыбаков, с чего он начинал? Очень просто: "созвал в театр мелкую, среднюю и крупную буржуазию и на сцену поставил пулемет и будильник... И через три часа, по звонку будильника, они положили на стол три миллиона". Радикально, но не продуктивно. С экономикой такие штуки не проходят. Она перестает работать, а то и — отвечает на насилие Кронштадским мятежом и антоновщиной. Нужны иные методы. Вот и приходится обращаться к отцу капризной девушки, чтобы хоть он помог гальванизировать строптивую экономику.

София и эмпирия

В пьесе Погодина все три коллизии, поддерживая друг друга и переплетаясь, разрешаются очень удачно и (что особенно важно) одновременно: Маша полюбляет Рыбакова, куранты на Спасской башне бьют, план электрификации разрабатывается. Получается, что в пьесе представлены разные аспекты некоего единого организма. Женского организма, ибо куранты связывают воедино Машу Забелину и экономику России. Часы — как бы общее место этой конструкции, сознательной и лич-

ностной частью которой оказывается Маша, а бессознательной и органической — экономика. Причем Маша кажется — не просто олицетворением экономики, но — самой экономикой, являющейся в человеческом, личностном обличи, а физиологические процессы экономики оказываются тогда процессами жизнедеятельности организма кокетливой девушки.

Я не думаю, что Погодин сознательно строил эту конструкцию, у него, конечно, была совершенно иная забота — выполнить социальный заказ по лениниане, но уж так получилось, что он в своей пьесе дал (сам материал, к которому он прикоснулся, заставил дать) представление о том, что многие русские философы пытались осмыслить под знаком софийности. В частности, отец Сергей Булгаков писал о софийности хозяйства. "Оно возможно благодаря причастности человека к обоим мирам, к Софии и к эмпирии". Но что же такое София? Можно грубо (а значит — неверно) сказать, что это гипостазированная и олицетворенная премудрость божества. Всякого божества, ибо — в религиозных культах всех народов так или иначе присутствует такой женственный принцип. Например, в буддизме это Шакти, насаженная на уд Бодисваты. В книге "Притч Соломоновых" это Премудрость Божия, существовавшая еще до всякого творения: "Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли". У христианских народов София обычно сливается с образом Богоматери. В Византии, откуда Русь почерпнула христианство, София отождествлялась с Логосом. И только в России, как отмечает Владимир Соловьев, София предстала "в виде отдельного божественного существа".

Разумеется, люди близко знавшие и видевшие Софию, описывают ее в самых сильных выражениях. Соловьев, например, говорит, что для наших предков София была "небесной сущностью, скрытой под видимостью низшего мира, лучезарным духом возрожденного человечества, ангелом-хранителем земли, грядущим и окончательным явлением Божества". Но вот тот же Соловьев, рассказавший о своих встречах с Софией в поэме "Три свидания" (правда, он здесь отказывается называть "Подругу вечную" по имени), заканчивает описание каждой из встреч — так или иначе подчеркнутым словом "глупость". "Конечно, ум дает права на *глупость*", но лучше все-таки держаться того, что можно хоть как-то понять. Поэтому, ни

в коей мере не отрицая никаких высоких видений, обратимся лишь к одному аспекту Софии, имеющему далеко идущие последствия и к тому же — объясняющему многое в нашей жизни.

В книге "Россия и Вселенская Церковь" сказано: "Русский народ знал и любил под именем святой Софии социальное воплощение Божества и Церкви Вселенской". В других своих сочинениях Соловьев называет Софию "истинным, полным и чистым человечеством". А также: "идеальным совершенным человечеством". Понятно, что это "идеальное человечество" (как, впрочем, и всякий коллектив) не есть просто совокупность индивидов. Это, как объясняет Соловьев, "цельный, вместе универсальный и индивидуальный организм". Не только сами индивиды, но и то, что их связывает. "София уже в своем вечном бытии необходимо состоит из множественности элементов, которых она есть реальное единство".

Сокровенный сердца человек

Все это станет немного ясней, если отвлечься от непосредственно софиологии, а обратиться к размышлениям русских философов об обществе. Смутную "веру отцов" как обычно особенно четко сформулировал Владимир Соловьев: "Все, что есть в жизни общей, непременно так или иначе воздействует на единичных лиц, усваивается ими и только в них и через них доходит до своей окончательной действительности или завершения; а если смотреть на то же самое дело с другой стороны, — в жизни личной все *действительное* ее содержание получается через общественную среду и так или иначе обусловлено ее данным состоянием. В этом смысле можно сказать, что *общество есть дополненная или расширенная личность, а личность — жатое, или сосредоточенное общество*". ("Оправдание добра").

В сущности, речь здесь идет о том же самом, о чем она идет, когда говорят о Софии: в душе каждого человека есть (должно быть) особое устройство, которое является как бы представительством общества нас. Оно связывает нас в общество и одновременно — позволяет нам в обществе жить. Это устройство — личностное существо, живая матрица смыслов, которая есть во мне, но которая спроецирована и вовне — в виде мифов, общественных институтов, укладов хозяйства, язы-

ка, преданий, традиций и т.д. Эта матрица делает человека, носящего ее в своей душе, полноценным членом общества, а общество, построенное на основании этой матрицы, — единством людей, воспитанных так (и для того), чтобы жить в этом обществе. Это, так сказать, "генетический код" общества — то, что порождает и человека, живущего в обществе, и общество, в котором человек живет. И еще: это как бы лицо общества, проглядывающее в каждой отдельной личности, идеальный человек, живущий в каждом реальном.

Это все — очень ясно, бесспорно, логически необходимо. Единственно новое и проблематичное, что привнесено тут русской философией, — то, что такое устройство (эта матрица) — есть личность. Вот, скажем, Юнг, открывший в европейском индивидуалисте такую матрицу и назвавший ее коллективным бессознательным, вовсе не увидел в ней личности. А русские философы, как бы по-разному они эту матрицу ни называли ("София", "мы", "хоровое начало", "симфоническая личность", "целокупная тварь", "всеединство", "нумерическое тождество") — всегда видели в ней именно личность. Почему это так? А скорее всего потому, что они могли наблюдать коллективную личность своими глазами. Юнгу пришлось открывать коллективное бессознательное, исследуя индивидов. А нашим не нужно было ничего открывать, они воочию видели коллективное бессознательное — в сходах сельской общины. И его, это бессознательное, можно было понимать как форму проявления личности.

Даже люди, которые (по своему позитивизму) никогда ни о какой коллективной личности не помышляли, невольно вводили в свои описания общины какого-нибудь "непосредственного человека", как, например, Златовратский: "В минуты своего апогея сход делается просто открытой взаимной исповедью и взаимным разоблачением, проявлением самой широкой гласности. В эти же минуты, *когда*, по-видимому, *частные интересы каждого достигают высшей степени напряжения, в свою очередь, общественные интересы и справедливость достигают высшей степени контроля*. Эта замечательная черта общественных сходов непосредственного деревенского человека..."

Что же может означать этот "непосредственный человек", стоящий за описанием безумного, казалось бы, радения, где

"из посылок делаются выводы, как раз противоположные тем, какие логически делаются в вашей собственной голове", и где, тем не менее, непостижимым образом этим "мирским, общинным человеком" принимаются единственно верные мудрые решения? Ясно, что это просто особое психическое состояние, знакомое всем из опыта. Говорят: "вошел в раж", "понесло", "впал в прострацию", "одержим". Таких состояний, вообще говоря, может быть много — в том числе и разумных, спокойных. И человек постоянно переключается из одного в другое. Знаменитое "вдруг" Достоевского — это и есть фиксация такого переключения, а бахтинская "полифония" — игра разных психических состояний. Это на эмпирическом уровне. А на уровне феноменологическом можно говорить о личностных состояниях. Или даже о том, что в человеке не одна личность, а много. И вот одной из таких личностей является "сжатое, сосредоточенное общество", как это определяет Соловьев. А Семен Франк выражается так: "единство "мы" внутренне присутствует в каждом "я", есть внутренняя основа его собственной жизни". И через пару страниц добавляет: "Истинное "мы" столь же индивидуально, как "я" и "ты"". Но все это, впрочем, пока что слишком общо.

Софья Власьевна без коммунстов

Как видно, софийные штудии наших религиозных мыслителей имеют не только богословское значение. Размышляя о Софии ("идеальном человечестве"), Соловьев и его последователи одновременно расширили поле возможностей понимания общества. Это естественно — ведь достаточно только "идеальное совершенное человечество" в характеристике Софии заменить каким-то конкретным коллективом (представленным, например, все тем же "непосредственным сельским человеком"), как софиология автоматически превратится в социологию. Разумеется, в этом случае не может быть уже никакой речи о Софии Премудрости Божией. Речь в этом случае может идти разве что о какой-нибудь частной софии, премудрости такого-то коллектива, такого-то народа, такого-то класса и так далее — взятых как целое, как некая "симфоническая личность".

Но тем не менее и частная софия остается идеальной мат-

рицей смыслов, порождающей духовно членов этого вот коллектива. И она, конечно же, тоже имеет свое лицо, которое можно увидеть. Наверное, частные софии являются каким-нибудь страстным своим адептам во снах или грезах наяву. Но и нормальные люди могут увидеть софию — в театре, в романе, в кино или где-нибудь на плакате. (От этих плакатных ликов раньше просто было некуда деться). Замечательно то, что в одном произведении можно встретить сразу несколько частных софий, представляющих разные общественные группы, как, например, в пьесе "Кремлевские куранты".

Нет сомнения в том, что торговку куклами, с которой начинается пьеса Погодина, зовут Софья Власьевна. Правда, это имя обычно применяется к уже окончательно большевизированной советской власти более позднего времени (как и другие наименования — Сонька, Совок). Но ведь главная суть Софьи Власьевны никак не меняется от того — большевизирована она или нет. Ибо Советы — это вынесенная из крестьянской общины натуральная форма самоуправления, где всякое дело полюбовно (хотя и не без ругани) решалось, исполнялось и контролировалось *всем миром*. Или, как это четко понимал Ленин: "Советы сосредоточивают в своих руках не только законодательную власть и контроль за исполнением законов, но и непосредственное осуществление законов через всех членов советов, в целях постепенного перехода к выполнению функции законодательства и управления государством поголовно всем трудящимся населением".

Разница между мирским сходом и Советом лишь в том, что на сходе фактически мог присутствовать весь мир, а в Совете заседали представители разных общин. Или реально — представители разнообразных рабочих, крестьянских и солдатских коллективов. Но поскольку все они только недавно вышли из общины (народа) и все еще носят в себе "мирского, общинного человека", софия их остается именно общинной, и в Совете устанавливается сермяжный общинный дух.

Идеал Советов, "свободно выбираемых и сменяемых в любое время массами" для вовлечения "поголовно всего трудящегося населения" в управление государством, взят из общинной софии. Он очень хорош для какой-нибудь деревеньки, но в большом государстве такая софия работать не может. Идеал этот абсолютно недостижим, в чем мы и убеждаемся се-

годня, когда власть опять перешла к Советам. Златовратский, описывая общинный сход, замечает, что "никакой благоспитанный парламент не согласился бы признать себя даже в отвлеченном принципе, аналогичным с этим сборищем мужицких депутатов". Это святая правда — Герберт Уэллс, герой разбираемой пьесы Погодина, говорит (но не в пьесе, а в книге "Россия во мгле"), что "трудно себе представить менее удачную организацию учреждения, имеющего такие обширные функции и несущего такую ответственность, как Петроградский совет". Особенно был писатель шокирован, когда встал вопрос о "выращивании овощей в окрестностях Петрограда". Тут во всей красе явился "непосредственный человек" крестьянской софии: "Люди вскакивали, произносили короткие речи с места и снова усаживались; они кричали и перебивали друг друга. Все это гораздо больше напоминало рабочий митинг в Куин Холле, чем работу законодательного органа в понимании западноевропейца".

Ну что же, многолетний опыт работы Совка показал, что эта софия в условиях огромного государства, когда невозможно пощупать руками того, что обсуждаешь и контролируешь, оказалась совершенно негодной. Совок у власти продемонстрировал только две способности: либо нелепо базарить, либо одобрительно молчать. Решать и управлять в такой ситуации будут, конечно, другие. И именно это софийное состояние назвал "Россией во мгле" Герберт Уэллс в своей книге: "По своей неорганизованности, отсутствию четкости и действительности Петроградский Совет так же отличается от английского парламента, как груда разрозненных часовых колесиков — от старомодных, неточных, но все еще показывающих время часов".

Плюс электрификация

Итак, откуда, оказывается, почерпнул Погодин свою метафору остановившихся курантов — из описания Советов своим знаменитым коллегой и героем. У Герберта Уэллса, кстати, ни о каких сломанных часах, кроме Советов, вообще ничего не говорится. Зато говорится о часовне Иверской Божьей Матери — "многие крестьянки, не сумевшие пробраться внутрь, целуют ее каменные стены". И именно около нее идет торговля куклами в пьесе Погодина. У народной софии хоть и

сломан будильник, но все же она занимается своим прямым делом: производит кукол — солдат для Красной армии и девочек для воспроизводства софийной матрицы в поколениях. Ничего другого она не хочет, о чем прямо и заявляет в поэме Заболоцкого "Торжество земледелия". Там она говорит некоему (обратите внимание) Солдату устами Предков: "Мы... предел представляем вашим бредням, предпочтенье даем средним — тем, которые рожают, тем, которые поют, никому не угрожают, ничего не создают".

Нет, от этой несознательной софии толку не добьешься. Кухарка не хочет управлять государством. Ленин разочарован. Его теория "непосредственной и прямой демократии" не оправдывается. Он мучается, едет в деревню (в пьесе), где общается с "непосредственным человеком" (по Златовратскому), говорит там о России и о деревне нечто такое, что даже комиссар Рыбаков приходит в недоумение: "Ничего такого, сказать по правде, я никогда не слышал". Впечатленный этими несслыханными ленинскими речами, комиссар начинает нести какую-то чушь о "неведомых дорожках", "невиданных зверях", "избушка там...", "а у вас тут русалок не бывает?". Боюсь, что Ленин рассказал бедолаге про электрификацию, которая должна уничтожить последних русалок в торфяных болотах и реках России. А может, Ильич просто читал стихи мужикам, а они его не поняли? Во всяком случае самый "непосредственный человек" в деревне, мальчик Степка, его не признал: "Ты не Ленин". А девочка Маруся добавила: "Вы просто чужой мужик..." Ну что делать с этим "загадочным народом"? В конце концов Ленин приходит (уже не в пьесе) к выводу: "Разве знает каждый рабочий, как управлять государством? Практические люди знают, что это сказки".

И вот Ленин приглашает знающего человека Забелина, чтобы тот запустил часовой механизм государства. А точнее — заставил куранты, игравшие некогда "Коль славен наш Господь в Сионе", играть "Интернационал". Ленин нашел подходящего человека. Этому Забелину в жизни нужно только одно — чтобы куранты работали. А уж какая там власть — это ему все равно. Истинный специалист по различным мудреным устройствам! Именно о таком специалисте мечтал Ленин еще в 1917 году, говоря, что пролетариат "посадит экономистов, инженеров, агрономов, и пр. *под контролем рабочих организаций* за

выработку "плана", за проверку его, за отыскивание средств сэкономить труд централизацией..."

Разберемся — о чем вообще идет речь, когда говорится об электрификации. Во всякой нормальной стране речь идет о конкретных инженерных сооружениях, при помощи которых добывается и используется электрическая энергия. А у нас? Вроде тоже об этом, да — не совсем. Какой-то странный ажиотаж вокруг этой электрификации. Мы, конечно, привыкли к словам, но можно ли в принципе понять, что вообще означает: "советская власть плюс электрификация"? Из этой формулы видно, что речь во всяком случае не идет о системе энергоснабжения. Энергоснабжение это уж так, между прочим, а главное — нечто другое. Но что же? Объясню: электрическая энергия — это лучший символ отвлеченности и обезличенности, какой только можно придумать. Энергия такой-то реки — совершенно конкретна, такое-то месторождение нефти — дает нефть с определенными свойствами, энергия такого-то угля, такого-то торфа, такого-то человека — все это совершенно индивидуально. А вот энергия, извлеченная из энергоносителей и превращенная в киловатт-часы — это как раз чистая отвлеченность, в которой невозможно разглядеть ничего индивидуального. Полная обезличенность. Символ обезлички. Именно этот символ и закладывается в формулу коммунизма, который, оказывается, есть Совок плюс обезличка. То есть речь идет об обезличивании энергии народа.

"Кремлевский мечтатель" мог сколько угодно мечтать о грядущих свершениях электрификации. ("С нашим народом можно мечтать"). В пьесе даже сказано, что "еще в девяностых годах мы в нашей партии мечтали о будущем России и строили планы электрификации..." Может быть. Но только надо понять, что все эти мечты были формой, в которую отливались чело-веконенавистнические планы большевистской софий.

Действительно, трудно себе представить, что нормальный человек мечтает о том, чтобы обезличить энергию людей, чтобы сделать население великой страны безликим рабочим скотом, превратить чело-вечьи желания в энергию масс, отнять у чело-века лично ему принадлежащее, загнать его в лагеря и колхозы и выдавать ему пайку, прожиточный минимум. Мечтать обо всем этом, я думаю, невозможно, а вот продумывать эту самую мысль под вполне безобидной, казалось бы, маркой элек-

трификации — очень даже возможно. Ведь при таких бессознательных грезах совесть мечтателя остается спокойной. Нет, что ни говори, а хитра большевистская Сонька — заморочила даже самых своих пронизательных приверженцев. Но скрытое в недрах софии иногда прорывается в символической оговорке. Вот Ильич, например, говорит инженеру Забелину: "А хорошо бы здесь, у самого моря, воздвигнуть огромный электрический замок... Знай наших!" Забелин-то знает, что на официальном жаргоне тюрьма именовалась "тюремным замком".

Твердой души прохвост

В конце романа Алексея Толстого "Хождение по мукам" Кржижановский на Восьмом Всероссийском съезде Советов представляет большевистский план насильственного обезличивания труда, разработанный инженером Забелиным: "Там, где в вековой тишине России таятся миллиарды пудов торфа, там, где низвергается водопад или несет свои воды могучая река, — мы сооружаем электростанции — подлинные маяки обобщественного труда". Ну, мы-то теперь понимаем, что речь идет о том, чтобы перегордить плотиной течение жизни народа и извлекать при помощи этого "электрического замка" абстрактную энергию "обобщественного труда". Разумеется, хозяйка этого дивного замка — софия.

Но это — особого рода софия (совсем не Советская власть). Представлена она "непреклонным человеком" или "твердой души прохвостом" и имеет на своем счету множество ужасных преступлений — от сожжения на огне "электрического костра", раздутого ею, миллионов человеческих жертв до заразы Чернобыля и от застойных явлений за плотиной, перегордившей поток жизни общества, до вещественно ныне гниющих водохранилищ на Волге. В самой пророческой книге русской литературы, "Истории одного города", обо всем этом подробно написано. Угрюм-Бурчеев, последний из градоначальников Глупова (пародирующий первого царя новой софийной формации Петра I, электрификатора) тоже вознамерился перегордить реку жизни народа, "уловить вселенную", "поднять Россию на дыбы". "Он не был ни технолог, ни инженер; но он был твердой души прохвост, а это своего рода сила, обладая которою можно покорить мир".

Впрочем, зачем же прохвосту (военному говночисту) знать что-нибудь, если он может позвать инженера Забелина и попросить его по-хорошему (а тот-то и сам рад, мозги застоялись) сделать проект какой-нибудь зоны. А чтоб не дурил, представить к нему комиссара Рыбакова. "Я направил его к вам, чтобы он осуществлял при вас диктатуру пролетариата, — говорит Ильич инженеру. — Ибо без диктатуры пролетариата мы никакой электрификации не осуществим". Удивительно верная мысль. Разумеется, она приходит и в голову Угрюм-Бурчеева. В своем плане электрификации (который желчный Щедрин называет "систематическим бредом", а также "нивелияторством, упрощенным до определенной дачи черного хлеба"), Угрюм-Бурчеев "особенно настаивал" на необходимости комиссаров в каждом доме ("поселенной единице") и в каждой группе домов ("взводе"). Вот только называл он их шпионами. Ну естественно: это было давно, терминология еще не установилась.

"В то же время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивеляторах вообще. Тем не менее нивеляторство существовало, и притом в самых обширных размерах. Были нивеляторы "хождения в струне", нивеляторы "бараньего рога", нивеляторы "ежовых рукавиц" и проч., и проч. Такова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако ж, за честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего... Лишь в позднейшие времена (почти на наших глазах) мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию".

Из вышеприведенных разъяснений Салтыкова-Щедрина с очевидной достоверностью следует, что большевистская софия электрификаторства существовала в России издревле. В отличие от крестьянской Софьи Власьевны, большевистская софия — есть софия администрации. И не случайно лучше всего ее описал чиновник Щедрин. Логически необходимо, чтобы такая софия имела два связанных между собою аспекта — командный и подчиненный. Вот идеал второго аспекта, резюме "систематического бреда" Угрюм-Бурчеева: "Страшная масса исполни-

тельности, действующая как *один человек* (подчеркнуто мною, — О.Д.), поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых, под бой барабана, двигаются по прямой линии люди, и все идут и идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки — все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются и когда даль откроется... Что же это, однако, за даль? что скрывает она?

— Ка-за-р-мы! — совершенно определенно подсказывало возбужденное до героизма воображение”.

Военный коммунизм

Таково пророчество, реченное через русскую литературу. По сути дела оно означает, что в России, где обывательская крестьянская софия (пока что не Власьева) слаба и не способна к разумному действию, где промышленность по большей части была в руках государства, поддерживавшего ее исключительно в целях своего усиления (то есть экономика была вотчиной военно-промышленного комплекса), — в такой России рано или поздно должно было произойти окончательное воцарение административно-командной, большевистско-электрификаторской, казарменной софии.

”Армия вообще, и в мирное, и в военное время, представляет обширную *потребительскую коммуну* строения строго *авторитарного*. Массы людей живут на содержании у государства, планомерно распределяя в своей среде доставляемые из производственного аппарата продукты и довольно равномерно их потребляя, не будучи, однако, участниками производства”, — писал перед Октябрьским переворотом знаменитый герой основополагающего труда Ленина ”Материализм и эмпириокритицизм” Александр Богданов. К его мнению стоит прислушаться, ибо он, пожалуй, единственный, кто в те времена занимался системным анализом. Основы его изложены в книге ”Всеобщая организационная наука: тектология”, а я цитирую книгу ”Вопросы социализма”, в которой далее сказано: ”Но гораздо важнее новый процесс, развивающийся под действием войны: *постепенное распространение потребительского коммунизма с армии на остальное общество*”.

Во время "Империалистической войны" та "лучезарная даль, которая покамест еще задернута туманом", приблизилась необыкновенно. Война, которую развязала большевистская софья (простите за парадокс) страшно концентрировала и централизовала экономики всех воюющих государств, а особенно России и Германии, где и без того уже были все предпосылки для "государственно-монополистического капитализма". "Диалектика истории именно такова, что война, необычайно ускорив превращение монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм, тем самым необычайно приблизила человечество к социализму", — писал тогда Ленин. В конце концов "туман рассеялся", "даль открылась" и "административный василиск" командной софии возвел на трон бессловесную (или бессмысленно многословную) Софью Власевну. А сам стал ее опекуном.

Менее чем через месяц после большевистского переворота, отказываясь от предложенного ему поста в Наркомпросе, Богданов напишет Луначарскому: "Трагизм вашего положения не только вижу, но думаю, что вы-то видите его не вполне, попробую даже выяснить его — по-своему.

Корень всему — война. Она породила два основных факта: 1) экономический и культурный упадок; 2) гигантское развитие *военного коммунизма*.

Военный коммунизм, развиваясь от фронта к тылу, временно перестроил общество: многомиллионная коммуна армии, паек солдатских семей, регулирование потребления; *применительно к нему*, нормировка сбыта, производства. Вся система государственного капитализма есть не что иное, как ублюдок капитализма и потребительного военного коммунизма".

Что и говорить, время показало правоту Богданова. Большевики считали госкапитализм переходной ступенью к социализму. Бедные! Они, может быть, и не имели прямого отношения к своему большевизму. Но можно сколько угодно мечтать о счастье человечества, об электрификации, о чем угодно — не возбраняется! — главное: делать дела важные и нужные для пищеварения военно-промышленного комплекса. Милые добрые партийцы впали в руки сурового василиска аполитичной по сути командно-административной софии Российской империи и — делали только лишь то, что выгодно ей. Вскоре после Ок-

тябрьского переворота эта милая дама развяжет их руками Гражданскую войну ("Если бы белочехов не было, их бы следовало выдумать", — откровенно заявил Троцкий), а потом она отчасти вымыслит, а отчасти и насоздаст себе врагов внутри страны и за кордоном. Под это дело она начнет лудить свой ненасытный желудок, ковать себе грозные кулаки, нормировать, распределять уже и в мирное время...

Но вот уж что воистину поразительно, так это то, что Богданов абсолютно точно определил и назвал софию военно-промышленного комплекса. Возможно, читателю до сих пор еще кажется, что софия — это что-нибудь метафизическое и туманно-призрачное. Вовсе нет! Софию можно буквально потрогать руками. Она воплощается в общественных структурах. Вот что писал знавший дело изнутри Богданов в цитированном выше письме Луначарскому: "Социалистической рабочей партией была раньше большевистская. Но революция под знаком военщины возложила на нее задачи, глубоко исказившие ее природу... Партия стала рабоче-солдатской. Но что это значит? Существует такой тектологический закон: если система состоит из частей высшей и низшей организованности, то ее отношение к среде определяется низшей организованностью. Например, прочность цепи определяется наиболее слабым звеном... Позиция партии, составленной из разнородных классовых отрядов, определяется ее отсталым крылом. Партия рабоче-солдатская есть объективно просто солдатская. И поразительно, до какой степени преобразовался большевизм в этом смысле. Он усвоил всю логику казармы, все ее методы, всю ее специфическую культуру и ее идеал". Напомню, что это описание щедринского "административного василиска" сделано 19 ноября 1917 года.

Лежи ты, падаль, на снегу

Разумеется, предупреждения Богданова не могли быть услышаны. Большевики, захватившие власть (то есть — одержимые милитаристской софией), не только не видели ничего особенно трагического в своем положении, но, напротив, считали, что дело идет именно так, как и должно идти по марксистской науке. Вот когда их софия начнет их давить, как надоедливых тараканов, тогда и ощутится трагизм. А пока — все по писаному: концентрация производства и централизация капи-

тала в руках монополий во время войны закономерно приводит к государственному капитализму с его контролем над производством, нормировкой, регулированием, распределением, государственным снабжением, таксацией цен и карточной системой. Вы только подумайте — ведь это уже почти что социализм!

Бухарин в "Экономике переходного периода" просто от восторга заходится по поводу "универсальной государственно-капиталистической организации, с уничтожением товарного рынка, с превращением денег в счетную единицу, с организованным в государственном масштабе производством, с подчинением всего "народнохозяйственного" механизма целям мировой конкуренции, т.е. в первую голову войны". Разве не видно, что этот невинный страдалец просто бредит военной софией, которая хочет загнать всех людей в лагеря и трудовые армии, ради извлечения электроэнергии масс? Нет, он отнюдь не садист, он лишь бесноватый. Он решил, что почва уже подготовлена, необходимые структуры — сформированы ("если капитализм "созрел" для государственного капитализма, то он созрел и для эпохи коммунистического строительства"). Осталось лишь кое-что подправить — передать эти готовые структуры пролетариату в лице (как подметил Богданов) "солдатской партии". А уж она, эта партия, являясь воплощенным телом милитаристской софии, займется "выработкой коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи" (курсив мой, а не Бухарина, — О.Д.).

Пока что "солдатская партия" лишь покупает кукол у торговки Софии Власевны. Административный василиск сам пока что бесплоден. Человеческий материал пока что берется в сыром, так сказать, виде, но, естественно, понимается как обезличенные мертвые куклы. Это уж позже военно-коммунистическая софия займется выработкой "нового человека" путем "концентрированного насилия" — "начиная от расстрелов и кончая трудовой повиностью". Об этом очень подробно и ясно рассказано в "Роковых яйцах" Михаила Булгакова. Под "красным лучом" — электрическим только, заметьте! — рождаются такие ужасные гады нового человечества, что только держись. И уж заодно обратите внимание на то, как точно дана у Булгакова сама даже дата гибели гадов: в ночь с 19 на 20 августа ударил страшный мороз. Это как раз та ночь, когда стало ясно, что

путч нынешних гадов милитаристской софии захлебнулся. Но сама-то она не распалась.

Продолжая, скажу, что государственный капитализм — это далеко еще не тот вожденный коммунизм, который большевики подрядились построить. София старого государственного капитализма хоть и остановилась, но все-таки в принципе может работать только по нормальным экономическим законам. Несмотря на все присущее ей "планирование", она еще способна к рыночной саморегуляции, у нее есть известные циклы (кризис, депрессия, оживление и подъем). Нет, увы, идеал Бухарина (уничтожение рынка, превращение денег в единицу счета и т.д.) пока что еще не достигнут. Нужно еще очень много работать над этим, а своих умственных ресурсов, к сожалению, не хватает. Надо обращаться к интеллигентской софии, которая — сука! — пока саботирует. Для этого надо собственно разрушить, перестроить эту софию или, как выражается Бухарин, разорвать "социальные связи прежнего типа, живущие в виде идеологического и психологического сгустка в головах людей этой категории".

Под людьми "этой категории" подразумевается неформальная общность старой интеллигенции — все эти забелины, персиковы, преображенские. Символом этой общности может быть, например, Незнакомка Блока или Маша Забелина. Кровавый Бухарин ставит задачу уничтожения этой софии. Да за что же, помилуйте, ведь она же готова отдаться любому комиссару... Но, нет — "предварительным условием самой возможности нового общественно-производственного сочетания должно быть распадение связей прежнего типа в головах этой технической интеллигенции". Или, как скажет Блок: "Лежи ты, падаль, на снегу".

Но все-таки Маша спаслась, хотя, конечно же, только лишь временно. Спаслась потому, что в характере ее есть неискоренимая пытливость, тяга к новому. Вот она и вышла замуж за комиссара. Всем этим привлеченным спецам было ужасно интересно посмотреть — как это можно устроить жизнь на совершенно иных принципах. Они не стали большевиками, они остались экспериментаторами, вечными "московскими студентами", как говорит один из них, герой "Собачьего сердца". Их софия влекла их к великим делам, и они пошли разрабатывать проекты воздушных электрических замков. А что из это-

го может получиться, они просто не знали. Маша Забелина стремится к комиссару Рыбакову только по своему девичьему легкомыслию. Ну ничего, он в дальнейшем покажет ей кузькину мать.

Заключение

Административный василиск, придя к власти, превратился во всеобщую систему коммуникаций, пронизывающую своими электрическими проводами весь организм общества. Подозреваю, что именно по этой причине эта партия и была переименована в коммунистическую. Во всяком случае как средство связи (и связей!) она просто вынуждена была перейти к "телефонному праву" и прочим известным своим методам. Но это случится чуть позже. Как и позже в Конституцию будет внесена Шестая статья, закрепляющая руководящую роль партии. То есть ее командно-коммуникативную функцию. Эта статья в софийном документе была так важна, что, когда ее отменили, все немедленно начало разваливаться. А уж что происходит теперь, когда и саму софию распустили, так и вообще представить даже трудно.

Софью Власьевну, из-за ее бестолковости, — тоже сейчас разгоняют. В Москве идут митинг за митингом, и на всех люди требуют настоящей власти. Бедная торговка куклами в ответ на это взялась голодать — депутаты объявляют голодовки — и в одиночку, и целыми группами. Я думаю, Советская власть скоро уже помрет с голоду.

Интеллигентская софия еще до войны была отчасти выслана, а отчасти расстреляна.

Вот какие штуки может проделывать и с людьми, и с целыми государствами коварный демон София, но только не Божия. А что касается "коммунизма", то это только возглас — "Как хорошо!" — паука, опутавшего паутиной электрификации большущую муху по имени Софья Власьевна... Паук + муха = кайф. Но об этом с большим знанием дела написано в замечательном произведении Корнея Чуковского. "Маленький комарик" там — Горбачев, а "маленький фонарик" — гласность. Фонарик — не электрический, в отличие от "лампочки Ильича".

Игорь Померанцев

БАСКСКАЯ СОБАКА

радиоповесть

Каждое утро, когда за сыном захлопывается дверь, я посылаю вдогонку ему ангела-хранителя. Об этом не знает ни одна душа в мире, даже Лина. Ангел ерепенится, долго расправляет крылья в прихожей. Сын в эти минуты проглядывает в подъезде соседские газеты: кто забил гол, какой диск перекричал все прочие, не стал ли принц королем. Потом внизу хлопает общая дверь, и ангел тоже вылетает.

Я нащупываю левой рукой "Сони", включаю. Волна и частота радио, где я служу, зафиксированы: нужно только нажать кнопку. Я слышу голос Иосипа. Он читает утренние новости. Иосипу русский язык обязан словами "самит" и "брифинг". Его последнее нововведение — "эксклюзивный". Новости кончаются, и я встаю. Сегодня в одиннадцать у меня деловая встреча в банке.

ISIS School Fees Loan Plan



Claremont Savile



*На банковском проспекте
изображена частная школа,
недоступная большинству
британских детей.*

*По прихоти своей скитаться здесь и там...
Вот счастье! Вот права!*

А. Пушкин

Банк Нэшенел Вестминстер готов дать мне займы сорок тысяч фунтов стерлингов. Менеджер подсчитал, что именно эту сумму предстоит заплатить за обучение сына в частной школе в ближайшие пять лет (рост цен, инфляция, общий экономический спад). Дадут-то они дадут, а чем мне расплачиваться? Получается, что жить мне придется до ста двадцати лет. Причем не только жить, но и работать. А моя юношеская мечта о досрочном выходе на пенсию?! Чтобы избежать нервного срыва, просто необходимо взять творческий отпуск месяца на два и провести его в курортном городе Сан Себастьян. Сейчас февраль и там должно быть пусто.

Мы простились с Линой мирно, но не тихо. На прощанье я купил ей два ящика рюхи "Федерико Патернина" 1985 г. (легкий дубовый аромат) и ящик бренди "Капитан". Этого бренди с каждым годом становится в мире все меньше и меньше. Его сделали к юбилею Колумба, а после юбилея производство свернули. Я сам его пью и плачу: по моей же милости оно неотвратимо идет на убыль. Лина же подарила мне большую пачку презервативов (18 штук) "суперсенситив". Я раскричался, обозвал ее эгоисткой.

— Да, и что с того, — обрезала она. — Качество эгоизма зависит от качества эго. Мое "эго" отзывчивое. Если я пекусь о себе, то от этого все в выигрыше. И прежде всего ты.

Я швырнул пачку на столик, уставленный косметикой, и больше мы к этой теме не возвращались. Вечером Лина приготовила ужин, который и более взыскательный ценитель, чем я, назвал бы праздничным. Блюдо было одно, но какое! Фазаны с капустой. Новички обычно пересушивают фазанину, не подозревая, что грудинка и ножки существенно отличаются друг от друга. Ножки у фазана натруженные, узловатые, а грудинка нежная. Ее надо запекать минут пять. Ножки же — не менее часа. Другая типичная ошибка — заворачивать ножки в бекон, чтоб они пропитались жиром. В результате бекон умягчает шкуру, но не проникает сквозь нее в мясо. А ведь именно оно так нуждается в смазке. Лина запекла все порознь: и капусту,

и грудинки, и ножки. Даже сын попросил добавку: понравилось. Зато мне не понравилось его, я бы сказал, механическое отношение к еде: без реакции, молча. К тому же он ел, как местные: мясо не накалывал вилкой, а насаживал его на спинку вилки и помогал себе не ножом, а указательным пальцем. Я сделал замечание. Он, видно, перепутал меня с учителем и механически сказал: "Простите, сэр". Чужак какой-то! Наутро я улетел в Бильбао, а в четыре пополудни добрался на автобусе до Сан Себастьяна.



Бискайский Залив встретил меня восторженно

Мой последний репортаж из лондонского клуба "Иберия" в эфир выйдет уже без меня.

(ТАНГО. ГУЛ ГОЛОСОВ)

АВТОР: Дегустация начнется минут через пять. А пока главный дегустатор пьет минеральную воду: готовит рот. Атмосфера в зале серьезная. Длинный стол, уставленный десятью рядами бу-

тылок, накрыт белой скатертью. Бутылки, как куклы, укутаны розовой бумагой. Таков ритуал.

(ГОЛОС ДЕГУСТАТОРА)

АВТОР: Это голос Главного Дегустатора. Он приветствует присутствующих и обещает им много волнующих минут. Вы сами слышали, как сух и академичен его голос. Сейчас он говорит о "ферментации" и "культивации". Да, людей, слушающих подобную лекцию, ни в чем дурном не заподозришь. Двое подручных разливают присутствующим первую пробу.

(КОРОТКОЕ БУЛЬКАНЬЕ)

АВТОР: Да, звук бульканья короток, но не по моей вине. На пробу дают два глотка. Я оглядываюсь по сторонам. Все рассматривают вино на свет, нюхают, снова рассматривают, но уже на фоне белого листа. Некоторые не допивают и выплескивают подонки в урны: надо беречь силы для марафона. Сегодня в клубе "Иберия" собрались самые чувствительные носы Лондона. У многих чувствительность проступает сизыми капиллярами, лиловыми сосудами. Обсуждается лето 1978 года. Жаркое, солнечное. Повезло тогда красному вину. Так и говорят: вину. Не своему же везенью радоваться. Я это лето тоже помню: лето эмиграции. Плавкий асфальт немецкого городка. Каленый воздух дерет горло. Выходит, ошибался. Выходит, это лето было удачным: Вино асфальтом не пахнет. Поставлю-ка ему высший балл. Дегустация продолжается. В течение часа мы пробуем четыре сорта вина, в общем, восемь глотков. Дискуссия становится оживленной. Мой сосед каждую пробу в бокале плотно прикрывает ладонью: настаивает аромат, чтобы после ударило в нос.

Сейчас мы дегустируем риоху "Монте Реал Тинто Гран Ресерва" 1975 года. В лавке такая бутылка стоит фунтов десять. Какую песню в 75-ом все слушали? "Эти глаза напротив..."? Нет, что-то потерпче. "Зачем же ты забыла мой номер телефона?.." Нет. Дамы-участницы особенно свирепо выплескивают подонки в урны.

(ГОЛОС ГЛАВНОГО ДЕГУСТАТОРА (по-английски))

АВТОР: Дегустатор говорит о низком уровне алкоголя и высокой кислотности. Да, кажется, "Остался у меня на память от тебя..." Уверен, что Пикассо пил бордо, а не риоху. Шесть проб позади. Целый календарь, отливной календарь. Пустых бутылок на столе так много, что зал кажется зеленой. Легко поста-

нывают пробки. Красное "Монте Реал Гран Ресерва" 1970 года. На запах — гречиха в цвету. На вкус — вялый шелк. Пожилое вино, кроткое. 18 фунтов бутылка. В дальнем углу зала замечаю свою жену Лину. Опоздала. Машу ей. Но взор Лины затуманен. Она без очков. Туман — от близорукости, а кажется — от вина. "Монте Реал Тинто Гран Ресерва" 1958 года. Эта риоха — ровесница Лины. Стол пылает зеленым костром. Если я подойду близко-близко, Лина меня узнает.

(ГУЛ ГОЛОСОВ.

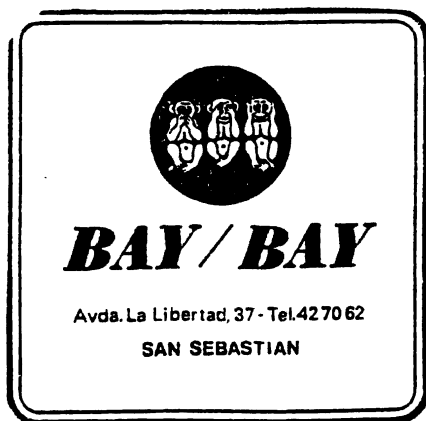
"ТАНГО ЛИБРЕ" АСТОРА ПИАЦЦОЛЫ)



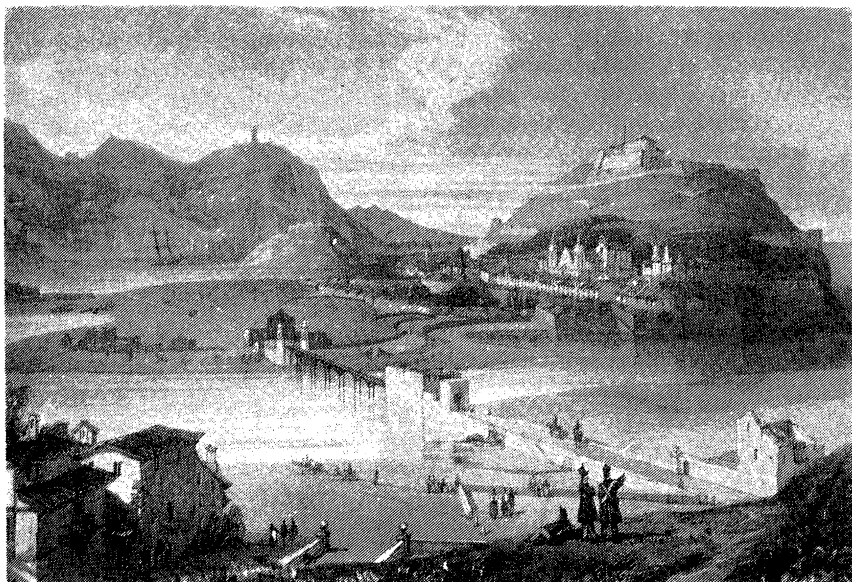
Лина и я в молодости

В свой первый сансебастьянский вечер я стоял у стойки бара и пил чай, запивая его бренди "КАРЛОС I". Так я порой экономлю себя, чтобы больше выпить на следующий день. Вошла дама. Перед собой, как хлеб и соль, она несла грудь. Выбрала место рядом со мной. Громко, по-своейски обратилась к бармену. Голос у нее был хриплый, как молодой коньяк. Види-

мо, она пошутила, потому что сама засмеялась. Я напрягся, но виду не подал. Я боюсь женщин этой профессии. Почему, не знаю. Она нюхом почуяла, что я чужой. Великодушно спросила, говорю ли я по-испански. Я тотчас забыл свои полтыщи испанских слов и честно ответил "нет". Она перешла на французский. Здесь это язык сервиса: каждый уик-энд в Сан Себастьян наезжают соседи с севера. Тут уж я совсем честно и даже страстно сказал "нет". На том и порешили. Добавлю только, что она была не какой-нибудь портовой лахудрой, а холеной, полной достоинства женщиной. Сама себе купчиха. У меня с ними не получается. Из-за бедности воображения. Один мой коллега рассказывал, как он в Гамбурге здорово провел время. Я пристал как репей. Заставил описать подробно, кадр за кадром. И вот что отметил: мой коллега в койку не лег, а сделал это стоя. "Почему?" — спросил я. "Да как-то побрезговал... чужая постель". Выходит, есть в этом что-то неестественное, раз включается брезгливость. Хотя... брезгливость чувство инфантильное. Это в детстве жмуришь нос, когда тебя целуют чужие дяди и тети. Как бы то ни было, не лизнул я бискайской соли, не преломил баскского хлеба.



*Это дорогой бар.
Классная работа краснодеревщиков и кожевенников.
Рука так и тянется к бренди.
И дотягивается.
Черт бы ее побрал!*



Современный Сан Себастьян. Гравюра художника Уилкинсона

Все-таки слово "русский" — это джокер. С утра меня озлили. Назвали в баре "литовцем". Я раскричался: никого я не убивал, это вы в черных беретах, а не я. Мне втолковали: убивают плохие люди; у нас тоже есть свои плохие, а спросили не литовец ли, потому что я русский. Я извинился. Несмотря на ранний час, поставил всем пиво "Келер". Подружился на минуту. Я люблю нарушать свое одиночество. Но еще больше люблю его оберегать. Главное, чтоб ты выбирал его, а не оно тебя. Свое лондонское одиночество поначалу я не любил. Испытательный срок на радио длился полгода, и я провел это время один. Сразу почувствовал дешевый дымок сиротства. Я стараюсь не дышать, как только чую этот дымок. В подвальной столовке Радио я отсел от коллеги, который завтракал в пальто. Старался держаться подальше от старого друга Манолиса из греческой редакции, потому что он ел прямо из консервной банки. Я бегу детдомовцев. У меня дом есть и семья есть. Я знаю, куда придти. Тогда в Лондоне я нашел себе несколько

подружек. Половина из них уже умерла от старости. Но половина живет, и я их честно не бросаю. Родом они – Марыся и Сузка – из Центральной Европы. Откровенно говоря, теорию души я не люблю. Практику особенно. Но что поделаешь, если в Англии мои подружки чувствовали себя неудобно? А во мне нашли родственную душу!

Когда Берлинская стена рухнула, обе они разлетелись по родинам: Марыся в Варшаву, Сузка в Прагу. Чтобы их навесить, я даже придумал серию передач о Центральной Европе: "Возвращение бургера". Тогда это было в новинку. Я скучаю по холодным рукам Марыси и по горячим рукам Сузки. Из Сан Себастьяна я им обеим позвонил, но пригласил только Сузку: все же холодные руки в феврале как-то чересчур.



*Марыся и Сузка
в общезжитии
радио "Изгнание"*

Телефон в Лондоне.

– Алло!

– Ола, сеньора!

– Ты что, нарочно?

– Что нарочно?

– Ладно. Не люблю тебя ругать. Мне тебя на самом деле жалко.

- Правильно. Что нового?
- Звонил Барри. У тебя в последнем репортаже 20 секунд перепбора. Я дала твой телефон.
- Спасибо. Теперь что-нибудь личное.
- Звонил твой переводчик. Сказал, что твой рассказ "Блеск провинциала" купил какой-то журнал на севере Англии.
- Но он мне это уже говорил.
- Сам разбирайся.
- Это он к тебе подкатывается.
- Да?
- Скажи ему, что я пишу рассказ о переводчике, влюбленном в жену писателя, называется "Ты у меня поплачешь".
- У тебя есть литературный агент.
- Адьюс!
- Пока!

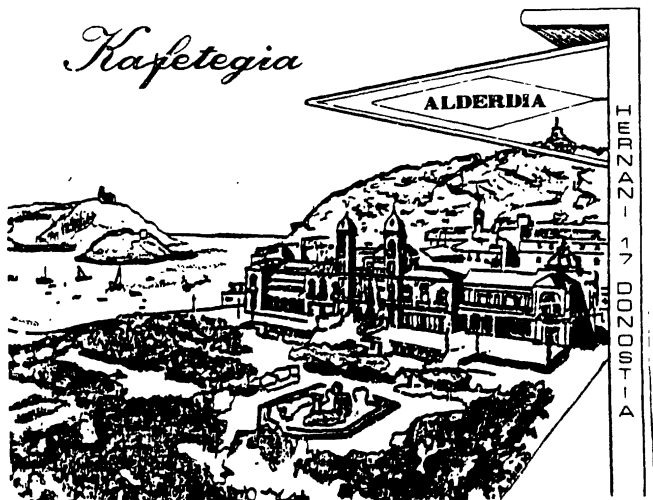
Днем нагло зашел в местную школу. Приготовил журналистское удостоверение, собрался врать, что готовлю передачу о преподавании баскского языка. На самом деле зашел из чистого любопытства. Мне кажется, что дети в Сан Себастьяне играют исключительно на испанском. А если дети на родном не говорят, то дела его плохи. Прошел по пустому холлу, поднялся на второй этаж, пошел на шум голосов. Заглянул в актальный зал. Там шла репетиция спектакля — я это понял позже. На сцене происходило нечто невообразимое: топтались слоны, к ним жались полуобнаженные девушки, увитые змеями, маршировали воины, увитые плющом. Ко мне подошел учитель, и я представился. Оказалось, что школьники готовят спектакль о завоевании Александром Македонским Индии. Как же я сразу не смекнул? Ведь эта кампания была самой веселой в истории военного искусства. Воины Александра на пути из Афганистана, через Гиндукуш, к устью Инда буквально не просыхали. Они покоряли край за краем, пританцовывая, припевая. Местное вино оказало им самый радушный прием.

Эта репетиция заохотила меня, и вечером я пошел в Дом Баскской Культуры на фестиваль короткометражек. Из десяти фильмов три были о террористах. По-моему, это брехня. В нормальной жизни террористов нет. Их придумываем мы, журналисты, потому что для нас хорошая новость — это плохая новость. Ну да ладно. Один фильм показался мне любопытным.

Ночь. Деревушка. Вой собаки. Согласно баскскому поверью — это к смерти. Из ворот выбегает подросток. Он бежит к соседу и к священнику: оповестить о смерти. Сосед для басков роднее родственников. Он должен знать про смерть еще до того, как об этом разстрезвонит колокол. Сосед тотчас приходит. Берет горящую свечу и капают стеарин на грудь усопшего. Это у них вместо зеркальца: удостовериться. Удостоверившись, сосед взбирается на крышу и выламывает плитку черепицы, чтобы выпустить душу усопшего. Все это снято во мгле, липкой как смертный пот. После родичи бегут на пасеку и в хлев: объявить о смерти пчелам и скоту, чтоб те в страхе не разлетелись, не разбежались. Похороны происходят днем. Процессию возглавляет все тот же сосед. У него в руках крест. Это путь-ритуал, извилистый путь от дома к кладбищу. Он лежит через кукурузное поле, горные тропы, виноградники, хаты односельчан, горницы, дворы. Фильм кончается ритуальным преданием огню матраса усопшего. Чад стоит такой, будто горит кинопленка. Меня тронуло прощание покойника с виноградником. К сожалению, фильм не отвечает на вопрос, что следует пить на похоронах. Лично я считаю, что-нибудь погорче, посуше... Херес? Зависит от пристрастий покойного. Мой тесть долгие годы сам настаивал бренди на ореховых жмыхах — это бессарабская школа. Когда его хоронили в Бруклине, Лина у свежей могилы откупила арманьяк. Он золотился инфернальным светом. Мы по очереди глотнули этого света. Значит, проводили.

Баск-воин, баск-музыкант,
баск-зандболист





*В этом баре кофе, бренди и бутылка минеральной — 450 песет.
Не дорого. Больше не приду.*

БЛЕСК ПРОВИНЦИАЛА

Что
и что
в не

*Что до меня, то я живу в маленьком городе,
и чтобы он не сделался еще меньше, охотно
в нем останусь.*

Плутарх

Он остался, а я уехал. Вначале в столицу, потом в другую страну. Теперь я стараюсь жить сразу в разных странах. Думаю, это форма географического невроза. Я даже выявил и взлелеял в себе несколько болезней. Так что регулярно вожу свой плеврит в Альпы, геморрой на воды в Бат, экзему на Адриатику. Но о себе доволен. Сколько можно. Лучше о нем. Итак, он остался. Поскольку в городок я возвращался наездами, то перемены в моем друге бросались в глаза сразу. В юности мы часто путешествовали по столицам, благо в тогдашней Империи их было сразу несколько. Но без меня он пере-

стал выезжать. Внешне это сказалось на его одежде. То ли он не покупал ничего нового, то ли покупал лишь то, что носил прежде. Возможно, и то и другое: находил по своему вкусу в коммиссионных. В один из моих наездов он совершенно естественно перешел на "Вы". Я не противился. Ведь это не было сделано в пику. Просто друг с годами становился все воспитанней и культурней, и его отполированная культурность исключала "ты" — и как слово, и как отношения. Станным образом в столице я становился все демократичней, приветливей что ли, он же — все рафинированней и подсушенней. Я, впрочем, не испытывал от этого чувства неполноценности. Не знаю, испытывал ли он чувство превосходства. Должно быть, да, хотя и не личного превосходства надо мной, а превосходства как данности, как состояния. Перенос этого чувства на кого-то конкретно был бы безвкусным.

Наши беседы менялись раз от разу и акустически, и по существу. (Хотя акустика — это тоже существо). Голоса звучали все приглушенней; я старался смеяться не звонко, как в былые времена, а сдержанно. Понемногу и вовсе сменил смех на улыбку. Он пошел еще дальше: стер с лица и ее. Его система ценностей стала походить на хрустальный сервиз. Она была уже и впрямь системой — нерушимой и необратимой. Да и ценности стали бесконечно ценными. Про себя я загадывал: "Каким бы стал я, если бы не уехал?" Но речь не обо мне. Честно говоря, я не знаю, почему он охотно встречался со мной. Может быть, чтобы посмотреть, что случилось бы с ним, не оставься он в городе. Оставшиеся пристально наблюдают за уехавшими, как бы они к ним ни относились. Природа этого интереса сугубо эгоистическая: в уехавшем видишь своего двойника, поступившего иначе. Потому оставшийся чаще всего с ревностной симпатией относится к уехавшему: не подкачай, а то подведешь и меня. При всей несердечности "Вы" мой друг с симпатией следил за моей жизнью. Мне кажется, мы относились друг к другу не как собеседники или бывшие друзья, а как персонажи. Наши слова, обращенные друг к другу... как бы это точнее сказать... происходили. То есть не были носителями идей, чувств, обменом сведений, а жили своей жизнью. Должно быть, нас было бы любопытно слушать со стороны или читать наши диалоги. Его смерть разрушила эти отношения. Родители друга попросили меня найти столичного издателя для романа, ко-

торый покойник завершил незадолго до смерти. Это роман о любви императора Диолектиана и казненного по его приказу капитана Себастьяна, впоследствии канонизированного. Издателя, думаю, я найду без труда. Но вот что забавно: то ли смерть, то ли просьба родителей все вернули на круги своя. Теперь мы снова друзья, снова на "ты", и мой смех снова так звонок, что я стараюсь помалкивать в присутствии хрустальных сервизов.



Мой друг и я в отрочестве



Наша последняя встреча

Телефон в Лондоне.

— Хэллоу!

— Привет!

— Да, сэр.

— По шее получишь.

— Прости, папа... Ты не будешь верить, но я по тебе скучаю.

— Я тоже.

— Ты знаешь, "Эвертон" сыграл вничью с "Ливерпулем"?

— Да.

— Откуда?

- Слушал Би-Би-Си. Четыре-четыре.
 - Папа... я тебя люблю.
 - Я тебя тоже.
 - Папа, я так в уборную захотел.
 - Ты всегда хочешь, когда со мной разговариваешь.
 - Па... умоляю.
 - Ладно, скажи маме, что я позвоню на днях.
 - Да, увижу тебя скоро.
 - Нет, по-русски "пока".
 - Пока!
 - Нет. Пописай и вернись. И захвати ручку и бумагу.
 - Да. Спасибо.
 -
 - Папа!
 - Да. Вот тебе три загадки. Ответишь в письменном виде.
- Что значит "в письменном виде"?
- Письмом.
 - Молодец. Диктую. Первая. Кто написал повесть "Баскская собака"?
 - Записал?
 - Да.
 - Вторая. Какой народ придумал игру "американский гандбол" и головной убор "берет"? Третья. Представители какого народа любят убивать испанских военных?
 - Да... это четыре загадки.
 - Не торгуйся. В письменном виде. Пока.
 - Пока.

Я выхожу из телефонной будки и сажусь на солнышке в кафе на бульваре Аламеда. Когда в солнечную погоду смотришь издали на собор Пастыря Доброго сквозь бренди, то веришь, что он выпилен лобзиком. Поверив, я иду к церкви Святой Марии. В ее бурую, толщиной в двести с лишним лет стену вколачивают салатные мячики юные теннисисты. Я задираю голову. На фронтоне в арке стоит Святой Себастьян. В его алебастровом теле торчат всего две ржавых стрелы: одна в пояснице, другая в левом колене. Всего! Тоже мне сказал. Одной, бывало, хватало.

История Себастьяна вкратце такова. Он служил капитаном преторианской гвардии, был в фаворе у императора Дио-

клетниана. Втайне крестился. Узнав об аресте и пытках двух друзей и братьев по вере, публично заявил о своем вероисповедании. Его приговорили к казни через... как бы это сказать... пронзение стрелами? Приведя приговор в исполнение, лучники ушли восвояси. Но некая вдова по имени Ирени, впоследствии тоже канонизированная, выходила капитана. Выздоровев, Себастьян покинул укрытие и вновь стал трубить о вере в Христа на каждом углу. Тогда Диоклетиан велел забить еретика дубинками, а труп его выбросить в римскую канализацию. Спустя девять столетий Себастьян был причислен к лику святых. А еще через полвека его именем назвали город в Басконии. Диоклетиан же спустя несколько лет после гибели Себастьяна отрекся от престола и кончил жизнь в глухом углу Империи, в огромном дворце-крепости в Сплите. Обязанностью Св. Себастьяна в Средние века было оберегать города от чумы, которая поражала со скоростью стерлы.

Все. Шею ломит. Глаза слезятся. Мне нравится статуарный Себастьян. Его тело, да, не глаза, а все тело сразу как бы исходит слезами. Оказывается, плачешь всем телом, а льется только из глаз. Я вспоминаю Св. Георгия. Молодец. Поразил дракона. Но какое тупое выражение лица у нашего героя. В его глазах жизни столько же, сколько в его копые. Сравните Св. Себастьяна и Св. Георгия у Рафаэля. Первый — юноша с маслянистыми от тоски глазами; в тонких пальцах он держит стрелу, причем острия стрелы не видно, сперва даже кажется, что это смычок; кровью не пахнет. Второй — рубака с мечом: сплошное громыханье, хрупанье, звяк. У Тинторетто лица Св. Георгия вовсе не видно, только тулово в латах да круп коня. Но почему я предпочитаю страдальца Себастьяна победоносцу Георгию? Есть в сочувствии своя корысть: несчастному сочувствует счастливый. Пока, Себастьян! Увижу тебя скоро.



San Martín, 39
Tel. 42.98.59
20005 DONOSTIA

- Почему "Севастополь"? — спрашиваю я бармена.
- Бог его знает... Там была какая-то война.
- И что?
- Вроде бы британские и французские моряки завезли это слово, сэр.

В Сан Себастьяне я живу интенсивной недуховной жизнью. Вроде библейских персонажей. Я тоже, как областеначальник Неемия, мог бы сказать: "И вот что было приготовляемо на один день: один бык, шесть отборных овец, и птицы приготовлялись у меня; и в десять дней издерживалось множество всякого вина". Сверяя цитату, я некстати натолкнулся в Книге Неемии на почти шейлоковский монолог ("Я еврей..."): "У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья..." Листаю дальше. Нахожу любопытное свидетельство о тогдашнем критерии бедности: "Поля свои и виноградники свои, и дома свои мы закладываем, чтобы до-



Баскская беднота

стать хлеба от голода". А я-то думал, что виноградник серьезней хлеба. И продолжаю так думать. Все равно голоды бывают

разные. Скажем, болгарский голод — это баклажаны без хлеба. А в украинской литературе образ крайней нищеты — чоботы. Их отсутствие. В семье на пятерых хлопцев и дивчат одна пара чобот. Их носят по очереди. Вот и получается, что в школу каждый школяр ходит только раз в неделю. Или такой образ бедности. У Бокаччо в "Декамероне" бедняки, каменщик и пряха, владеют винной бочкой. Правда, бочка эта пуста. Но зато с помощью этой самой пустой бочки пряхе удается утаить от мужа любовную связь с юным вертопрахом. Более того, пока муж очищает бочку от гуши, пряха, следящая за работой, подставляет свой задок любовнику. О чем я? О том, что даже у бедняков, итальянских бедняков, в XIV в. от Р.Х. были свои винные бочки. Скажу больше. Людей, наделенных эротической смекалкой, язык не поворачивается назвать "бедняками".

*Вы опять рюмку выпили. Довольно бы вам.
Ф. Достоевский*

Почему я вечно нахожу себе какое-то отрепье? Еду в Югославию и делаю передачу не о сербах, не о словенцах, даже не о мифических македонцах, а о полугуцулах-полуцыганах, примостившихся на самом хвостике Карпат. Шурую мимо Испании в Португалию и придумываю ей образ самой обольстительной кофейни Европы. А если в Испанию, то не в Кастилию или Арагон, а к сомнительным индо-цыганам Андалусии (происх. от Вандалусии т.е. от вандалов). Или к сепаратистствующим каталонцам. Но последние недостаточно забиты, и больше я к ним не поеду, по крайней мере, за свой счет. Теперь нашел себе других выродков: басков. По цвету — хаки, тина, терракота — работают под ящериц. Баск — в берете, баска — в шубе. Береты плоские и черные, как сковороды. Стоит им открыть рот, как из него вылетает "Игор", "Игор". Меня, к счастью, зовут иначе. Да, Игорям сюда лучше не соваться. Запросто рехнутся. И вот в этих компаниях европейских ярыг я чувствую себя на месте и у дел. Если честно, то лучшие вина баски привозят из других краев. Хотя хвостик — снова-таки хвостик — волости Риоха баскский. Я надеялся, что в Сан Себастьян завозят вина

из баскских провинций Франции. Они почти по соседству с Бордо. Соседство соседством, а почва другая, песчаная. Добро-го винограда на песке не вырастишь. Должно быть, моя страсть к винограду — это тоска по почве. В душе я патриот. Но нет у меня почвы. Я — пришей кобыле хвост, хвостик. Вот и ошиваюсь там, где отрепье. Не человек, а тина... ящерица. Впрочем, в Сан Себастьяне я нашел компатриота: компьютерный магазин "Каспаров". На витрине выставлена шахматная доска. Компьютерная. И еще один магазин заметил: "Мода Инфантиль". Зашел, купил панамку. В пику местным беретам. На улице выходить в ней боюсь. А в номере не снимаю. Сажу за столом, обложившись книгами и похлебываю. Рискнул: взял бренди "Маскарó". Не промахнулся. Ершистое, но элегантно. По правую руку Плутарх и "Всемирный атлас вин" Хью Джонсона. По левую оба Завета и "Карманный справочник вин". Сажу себе в панамке. Кайф. Полный идиот.

ТЫ У МЕНЯ ПОПЛАЧЕШЬ

Прислушиваются, приглядываются: ясно не видят, отчетливо не слышат. Что-то готовится: баль? помана? патроны? Газды вбываются в сардаки, кептари, портяныщи. Прециж, свято. Бахуры пуцуют ньенькови постолы. Дивчата головы моют в дошивци, вдеают в уши ковтки. Легини примеряют перед люстеркой крысани или крымки: файный зальщяльник. Йимость утужит поповскую реверенду. Только подертюхам не выбрендытыся. Если уродился нихотоллицей или драбом, то натягивай, сарака, свои гачи, постолы без воляк, сполосни карк в кринице и пылуй. Да место свое знай: не с гадзами и дидычем, а с дидычевыми форналями. А в каждой хате поглядывают на дзыгарок: борше, борше, а то опоздаем. У цимбалистов уже руки тянутся к пальцяткам. Мой, стучать обцасам, литься паленке! Ну-ка, жовниры, подставляйте пысок! Только, чур, гарнецы не чаратыты. А это кто крейцерами карманы набивает? Уж не збуи ли? Нет, у збуев разве что шустку найдешь да ржавую физию. А при крейцерах — галакы. У них кузни подземные: клевцем поковтав и на тебе брынькачи.

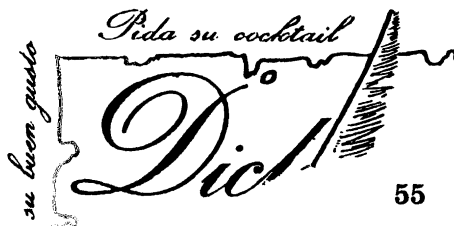
(ЛАДНО, ПЕРЕВОДЧИК ФУЕВ. НА ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЮ!)

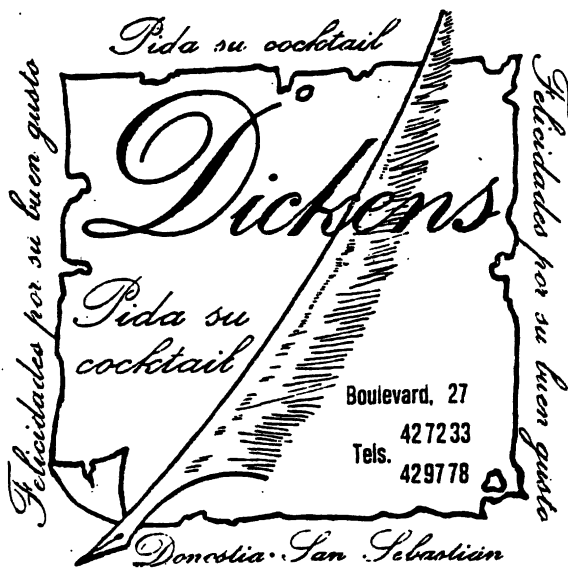
Я узнал потрясающую вещь: в городе орудуют буквально десятки гастрономических сект. Я иногда иду на гул голосов, а не на вывеску. Если гул густой, значит все в порядке. Сунулся в дубовую дверь возле аквариума. Пока меня выталкивали, успел заметить шпалеру красных шей и длинный стол, уставленный мисками и сулеями. То же случилось со мной возле собора Пастыря Доброго. После на улице Игнатия Лойолы (этот святой – тутошний). В бешенстве я зашел в туристское бюро и потребовал объяснений. Девчонки долго шушукались и, наконец, поняв, что от меня не отделаешься, одна из них на омерзительном английском – с песком и ракушками – сказала:

- Это у нас Народные Общества Едоков.
- Что значит Народные Общества?
- Собираются люди. Приносят мясо, рыбу, морских тварей. Вместе стряпают, вместе едят.
- А вино?
- И вино. У каждого Общества свой погреб.
- А почему не приносят готовую еду?
- Такой устав. Стряпают вместе.
- И что?
- Им весело. Все свои.
- А вы... тоже в таком... Ордене?
- В Обществе? Там почти нет женщин. Раньше их совсем не принимали. Традиция.

У меня немного отлегло от сердца: я не выношу холостяцкого духа.

Чтобы как-то успокоиться, зашел в первый попавшийся бар и сдуру взял баскское вино чаколй. Вдруг за спиной раздались "Игор! Игор!" Я напрягся, но не обернулся. Бармен снял с полки литровую бутылку водки и плеснул из нее в приземистый стакан. На наклейке крупными красными буквами по-испански было написано "IGOR". Значит, мне не казалось. Значит, на набережной, в барах, в подвальчиках только и толки, что о водке "IGOR".





Великолепные бокалы для бренди.
Горячий шоколад в любое время.
Замечательно дорого. Но как-то
глупо для лондонца ходить в Сан Се-
бастьяне в бар "Диккенс".

Стук в дверь. Открываю. Глазам своим подпухшим не верю.

— Марья?

— Ола, Гена!

— Откуда ты узнала мой адрес?

— Позвонила хозяйке пансиона.

Отсрочивая ужас, говорю:

— Но она говорит только по-баски.

— Я немного знаю грузинский.

— Молодец! — Честно восхищаюсь я марысиной находчивостью. — Давай-ка твой чемодан... Душ или кофе?

— Каву.

Мы спускаемся по лестнице, выходим из подъезда. Улица обдает меня жаром. Погоду как подменили. Значит, найдем применение марысиным рукам.

Воздух Англии замечательно воссоздан акварелями; воздух севера Франции — пуантилистами либо пастельными пятнами импрессионистов... Но Испания — алая, золотая, черная, и все это в испанском вине.

Хью Джонсон

Снова рискнул. Купил немарочную с кустарной наклейкой риюху алавеса. 195 песет. Вернулись с Марысей в пансион и на час-другой обменялись телами. Это легкий плагиат. У сэра Филипа Сидни "с любимым обменялись мы сердцами".

— Гена, ласки твои лучше вина.

— Марыся, твои груди похожи на виноградные кисти.

Сидя на мне, она нащупывает холодной рукой бутылку, отпивает, находит своими губами мой рот и вливает в него вино.

"Рислинг — пыльный термин", — определил поэт. Моя рюха, пожалуй, термин... грязный. Но эта грязь благодаря Марысе из божественнейших. Теперь я знаю, что имел в виду Солон, когда говорил: "Уста твои, как отличное вино!"

Греки пили из кубков, римляне из чаш. Я пью из Марыси. А вот из чего пили на пирах царя Артаксеркса в Сузах: "Напитки подаваемы были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в тридцать тысяч талантов; и вина царского было множество, по богатству царя". Честно говоря, я оцениваю сосуд губами, а не кошельком. Смысл жизни во встрече. В свидании губ и сосуда.

— Ласки твои лучше вина.

— Твои груди похожи на виноградные кисти.

Отпуск отпуском, но радио меня и тут преследует. Голосами. Так было на Крите. В Андалусии. Теперь в Басконии. Радиоголоса этих народов физиологичны. Как будто дикторы накануне передачи гасили во рту спички. Дышат серой. Как драконы. Куда смотрят брандмайоры? На сансебастьянской набережной репродуктор гремит во всю ивановскую. Не выключишь.

В пансионе радио тоже преследует меня. Но уже мое радио. Звонит Барри.

- Привет, русский лапоть!
- Неужели валлийская свинья?
- Ойнк-ойнк.
- По-русски "хрю-хрю".
- У тебя перебор секунд двадцать.
- Так вырежь.
- Что резать?
- Как всегда, лучшее.
- А там всегда все плохо.
- Ладно, вырежь, где про песни семидесятых. Я там рас-
сентиментальничался.
- Прости?
- Рассентиментальничался.
- Жаль. Я специально заказал эти песни в Москве.
- Гений! Но все-таки свинья.
- Как ты?
- Куча материала о вине. Вернусь и сразу поедем сюда в
командировку.
- А что там записывать?
- Ну... льют вино в бокалы с полуметровой дистанции...
звук неприличный. Потом интервью в Обществе Едоков. В Ор-
дене Иезуитов — их отношение к вину. Потом омерзительная
баскская музыка... почти как тирольская.
- Ладно. Подрежу слегка "Эти глаза напротив". Ты ни-
чего для нас не написал?
- А ты из студии звонишь?
- Да.
- Врубай пленку.
- Гений! Сейчас... минутку. Пишем.
- Заявление для прессы. Я, русский журналист, вторая
после писателя совесть нации, в это непростое для родины вре-
мя считаю своим моральным долгом сделать передачу об ис-
панском вине. С этой целью я намерен провести два месяца от-
пуска в Сан Себастьяне. По возвращении на службу я обязуюсь
с упрямством литвина отстаивать на радио суверенитет жизни
назло упрямому литвину и его душителям. Герники приходят
и уходят, а слово остается. Сочувствовать человеку и челове-
честву легче, чем сделать приличную радиопередачу.
- Геннадий Люстрин, радио "Изгнание", Сан Себастьян.
- Спасибо. Как будет по-русски "практическая шутка"?

— Розыгрыш.

— Я твой должник. Увижу тебя скоро.

(БАСКСКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА)

...*Пейте вдоволь, пейте двое...*

О. Мандельштам

Мы поспорили, кто из нас трезвей. Придумали тест: пройти по парапету на набережной. Кто свалится и утонет, тот менее трезв. У Марыси фора лет в пять: она помладше. Известно, что старый человек пьян от прожитых лет: члены дрожат, язык заплетается, но при этом беспрестанно что-то мелет. От страха? Молчание — это смерть. Пока говоришь — живешь. Так что на старости лет лучше не смолкать.

Первой идет Марыся. Если она сорвется, то мне не надо сдавать тест. Но какой там! Прав был Плутарх: "Тело женщины пронизано как бы влагоотводными канальцами, потому женщины не так подвержены опьянению".

Она легко прыгивает и делает реверанс. Я пытаюсь ее отвлечь:

— А ты знаешь, что в Греции на погребальный костер укладывали десять мужских трупов...

— У нас пока ни одного...

— ...и только один женский. А почему? Считалось, что в нем есть нечто факелоподобное, способствующее сгоранию остальных.

— И о чем это говорит?

Кажется, фокус удался. Я тихонечко увожу Марысю от набережной.

— О чем? О том, что огонь — в основе женской природы! Мы заходим в бар "Диккенс". Там несколько одиночек.

— Выбирай, — говорит Марыся, — хоть пани, хоть пана. Либо спим вдвоем, либо сдаешь тест.

Мы возвращаемся к парапету. Нет, она не просто иностранка. До дьябла!

*Культуры, настоянные на пиве, в своей
основе анальны.*

Из разговора с академиком Вяч. Вс. И.

— Геночка!

— Я сплю!

— Геночка!.. Ты моя утренняя передача. Скажи что-нибудь новое.

— Хорошо. Часы, когда следует совершать любовное дело, греки называли "половым благочинием". Налей мне пива... Так... Спасибо... Цитирую по памяти: "Утро — удары молотов, визг пил, крики откупщиков, возгласы глашатаев, вызывающих на судебное разбирательство или на обслуживание какого-нибудь царя или начальника. Это не время предаваться наслаждениям".

— Ты это сам сочинил?

— Да. Сочинил я, а перевел московский античник Боровский.

— Я давно хотела спросить... почему ты всегда раздеваешься скорее меня? Ты лежишь, а мне неловко.

— Я не нарочно.

— Ты хочешь, чтоб все уже было позади?

— Избегай двусмысленности.

— Гена-а-а...

*Всюду Бахуса службы.
Свет и служба идет.*

Б.-О.Мандельнак

Выходим на улицу. На самом деле это сразу три улицы, натянутые между церковью Св. Марии и собором Пастыря Доброго. Стрела длиной в километр. Наверное, самый спиритуальный километр в Европе. Мы стоим на спиритуальном сквозняке, и у Св. Марии и Пастыря Доброго шевелятся волосы. На городской площади скульптурная группа: три местных грации, три гипсовых идиотки. Две с бубнами, третья с кастаньетами. Золотая вода Залива подсвечена песчаным дном. Высокое количество флюгеров на душу населения. На вывесках и табличках так много "з" и рыкающих слогов, будто все здесь названо в честь грузинских дзюдоистов. Типичный февральский де-

нек: 18 градусов по Цельсию. В песочниках понатыканы гигантские градусники. Вместо часов? Погода и впрямь важней, чем время. У градусников привкус детства. Это было загадкой: ртутный и бордовый столбики. Почему? Чем?

Бухта в яхточках. В богинях — яхвочках. Так и льнут, как к меду осочки. Но красное словцо неуместно, когда о белом. Лучше египетское: парус — папирус. Или японское: летучие иероглифы.

Чье это лицо в зеркалах бара, опухшее, как бухта? "Нет шансов", — сказал бы мой англоязычный сын. "Есть!" — вопиет с того же зеркала фарфоровый профиль Марыси. Пока игла слизывает музыку с диска, на улице люди с плакатами "либертад" демонстрируют свои шубки, береты, обрубки сигар. Своим видом они компенсируют борьбу за "либертад". Если это не свобода, то свобода — это обшарпанные райцентры, уработанные мужчины, израсходованные женщины. Хлынул дождь, и оказалось, что все "либертадоры" вооружены зонтами. Мы пустились к другому бару, прикрывшись, как говорят японцы, "локтем вместо зонта".

Странное дело: присутствие Марыси меняет мое отношение к городу и особенно к его барам. Белые зубы басков, лязгающие о стаканы, теперь режут мне глаза. Я бормочу Марысе строки Катулла о древних кельтиберах, возможно, предках басков:

Но ты ведь кельтибер, а кельтибер каждый
Полощет зубы тем, что настроил за ночь,
И докрасна при этом трет себе десны.
Чем, стало быть, ясней блестят его зубы,
Тем, значит, больше он своей мочи выпил!

— А чем полоскал зубы Катулл? — спрашивает Марыся.

— Чистил золой... а полоскал вином:

Мальчик, распорядись фалерном старым...

— У вашего Пушкина по-другому:

Пьяной горечью фалерна
Чашу мне наполни, мальчик!

— Не помню.
 Мы возвращаемся в пансион.
 — Что будем делать? — спрашивает Марыся.
 Я мшу ей:
 — В тебе все дразнит, все поет,
 С л о в н о и с п а н с к а я р у л а д а .
 И маленький вишневый рот
 Сухого просит винограда.
 Подставляй!

(ДИВЕРТИСМЕНТ К. ДЕБЮССИ "ТРИУМФ ВАКХА")



В этом баре на набережной — настенные часы "Звез". Насмешка над Кроносом? Завскивание перед отцеубийцей?

Благодаря доброму молодому вину можно выпердеть чудный мотивчик.

Ф. Рабле

Цвет вина особенно красноречив на фоне белого листа. И точно так же страница книги часто повергается вину. Как много трюизмов высказано о вине в мировой литературе, сколько плоских фривольностей, рассудочного морализаторства. Я не имею в виду обвинений или нареканий в адрес вина. Я говорю о нулевом градусе литературских чувств, об их небном дальтонизме. Вопли Соломона в Притчах меня восхищают,

хотя я с ним глубоко не согласен: "У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? у тех, которые долго сидят за вином..." Какая великолепная эскалация эмоций! Какой дерзкий, я бы сказал, кинематографический ход: дать цвет вина через его отражение в глазах!

Посидев в муниципальной библиотеке Сан Себастьяна, я собрал слитки пошлостей. На фоне листа видишь их насквозь.

Господь сотворил лишь воду, а человек сотворил вино (В. Гюго). Женщины и вино — вот чем следует заниматься в жизни (Джон Гей). Кто не любит вина, женщин и песен, тот всю жизнь проживет дураком (приписывается Мартину Лютеру, протестантскому антиподу Лойолы). Женщин, вина и табаку, пока я не воскликну "довольно!" (Джон Китс). Вино и девицы опустошают мужские кошельки (это уже народная тупость: английская поговорка). Где нет вина, там гибнет любовь и все прочие улады (Эврипид). Вино делает человека довольным собой. Я не говорю, что оно делает его приятным для других (Самуэл Джонсон). Вино высвечивает тайны души (Гораций). Вино — это бокал разума (Эразм Роттердамский). Поэзия — это вино дьявола (Св. Августин). Вино — это поэзия в бутылке (Р.Л. Стивенсон). Есть все основания считать вино самым полезным и гигиеничным напитком (Луи Пастер). Вино — это оборотень: сначала друг, потом враг (Джордж Герберт). В вине утонуло больше мужчин, чем в море (Томас Фуллер). Вино двух- и трехлетней выдержки вырабатывает яд (китайский текст XIV в.). К белому мясу белое вино, к красному мясу красное вино (французская народная тупость). Если ваша цель деньги, то пейте воду (Теккерей). Вы знаете, как я общаюсь с женщинами? Через шампанское; они пьют, болтают и делают все прочее (все тот же тщеславный Теккерей). Ты прислал мне вина, но вина своего мне хватает. // Ежели мне угодить хочешь, то жажду пришли (Анджело Полициано). Компания становилась все веселей и шумней, а шутки все плоше (Вашингтон Ирвинг). Если пророк России Ф. Достоевский, то пророк Франции и Басконии Ф. Рабле (я).

Она стоит у стойки бара в трофейного цвета габардиновом плаще. С дружкой-гвардейцем. В шляпке. Из-под шляпки

ки проливаются золотистые кудри. Из-под кудрей сквозят плечи.

За столиком три сеньоры пьют густой шоколад. Все дело в их шубах — ондатровой, лисьей, песцовой, — сброшенных в одно кресло. Меха смешиваются, тонут друг в друге. Какую выбрать? Вопрос риторический. Утонуть в трех шубах сразу.

О женщины, идущие из уборной бара по направлению к стойке! В этом промежутке я люблю вас. Влажных. Уязвимых.

— Без блондинок брюнетки утратили бы ровно половину очарования. И наоборот, — обороняется Марыся.

— Да... хорошие вина охотно конкурируют... Подсвечивают друг друга. Но силы должны быть равны. Если одно обошло другое, то оба в проигрыше.

Марыся хохочет, хотя ничего смешного я не сказал. Все-таки иностранка.

*На койке
Мне было, как на нарах в кандалах.
У. Шекспир.*

Баскония была если не оплотом, то тылом Реконкисты. Здесь крестоносцы местного значения вынашивали планы тотальной виноградизации Пиренейского полуострова. С этой целью лучшие руки и умы были брошены на изготовление железного оружия. Баскское железо высоко ценили даже на дальнем севере. Не случайно в "Гамлете" упоминаются "tilbos" — кандалы из баскского железа. В переводе Пастернака эти кандалы лишены баскского блеска.

И поныне этот край остается оплотом духовности. Однообразной пище эпохи демократии он противостоит телячьим языком в ореховом соусе, рисом с мидиями, кальмарами в собственном ("чернильном") соку, ящерицами, сваренными в котле под открытым небом. Устриц я не упоминаю, поскольку больше ценю галисийских устриц. Но вот что я определенно упоминаю: риюху алавеса.

И все же, если бы меня спросили, какой бокал или какую бутылку я запомнил острее всего, я бы ответил: стопку раки. Я выпил ее, точнее семь стопок, на горном критском перевале.

Раки — крешеный родич арака. Но в критском раки только капля патоки, а все прочее виноградный спирт. На деревенских столах в двух шагах от неба стояли плечистые бутылки самогонного раки. Ими торговали семеро критян, таких же щетиных, как их напиток. Чтоб никого не обидеть, я откушал у каждого. На седьмой стопке я почувствовал, что горный воздух — это все-таки горный воздух. Преодолев два шага, отделявших меня от него, я стал помышлять о миротворческой миссии: грандиозном плане примирения винной христианской и не-винной мусульманской цивилизаций. Если раки в родстве с араком, то почему бы не углубить, не расширить родство? Да, любовь к алкоголю объявлена пророком Мухаммедом греховной. В Коране много недобрых слов о вине. Но были же такие диссиденты как Саади, Омар Хайям. Правда, они были не арабами, а персами, а в Персии культура виноделия опередила Ислам на 1100 лет. Вино Shiraz родом из Персии. А французское Châteauneuf-du-Pape, — продолжал витать я в критских облаках, — в родстве с Shiraz через виноград suyah. Значит, вино может течь поверх культур и вероисповеданий! Вино — текучая память человечества. А что текуче — то свободно. Запах,



Дискуссия о вине между христианами и мусульманами, состоявшаяся 2 мая 1808 г. в Мадриде (Музей Прадо)

аромат вне сур и булл. Зрелая культура пахнет вином, молодая — потом. Что ждет нас в будущем? Возьмем две страны: Алжир и Турцию. Первая производит одну шестую часть мирового вина, но, в основном, экспортирует его. В среднем же алжирец выпивает всего поллитра вина в год, да и то, по-видимому, в составе приправ и соусов. Удручающая статистика. В Турции же, где государство отделено от мечети, дела идут куда лучше. Рискну признаться: мне нравятся красные турецкие вина ("Кармен", "Бузбаг"). Чтобы их отведать, вовсе не обязательно отправляться в Турцию. К примеру, в Мейфер, лондонском районе блудниц, есть достойный ресторан "Софра". Так вот, попивая там "Кармен" и/или "Бузбаг", чувствуешь всеми "жилками языка" (Платон), из чего сделано вино, что такое а г р культура. Именно в тот момент, когда я делал ударение на "агр", Лина и Манолис увели меня в машину. Миротворцу негоже упрямыться. Прямо с облаков мы спустились к побережью вино-зеленого Ливийского моря. Как не похожи на него сейчас февральские волны Бискайского Залива.

(ТУРЕЦКАЯ ПЕСНЯ В ИСПОЛНЕНИИ НЕВИН ДЕМИРДЕВЕН)

№ 019791

Эпиграф:

Casa Nicolasa

PRIMERA CATEGORIA

RESTAURANTE
SAN SEBASTIAN

TELEFONO 421762
420755

ALDAMAR, 4



*

Casa Nicolasa, S.L.
N.I.F. 9-20194327

MESA 17

CUBIERTOS 2

В конце осени, как справедливо заметил Аристотель, человек ест больше. Но я растягиваю осень до конца зимы. Сегодня у нас с Марысей обед в ресторане "Николаса". По скромной лестнице одного из лучших в Европе ресторанов поднимаемся на второй этаж и попадаем в кают-компанию трансатлантического лайнера. Каштановый грот. Дерево придает уверенность: ты непотопляем. Шелковые занавесы, бархатные шторы,

массивные торшеры. Официантки в передниках. Как гимназистки. Марыся смотрит в меню, шевелит губами:

— Каплун с пюре из каштанов... цыпленок, фаршированный трюфелями...

Подходит благородный официант. В России (да и в Польше) я бы такого сразу выбрал премьер-министром. Хоть смотреть приятно. Марыся советуется с ним. Маленькая удача. Я-то знаю: уже сама решила.

— Я бы рекомендовал цесарку в арманьяке, — серьезно говорит официант.

Да, лучше бы пошли в "Акеларре". Там только одно фирменное блюдо: телячий эскалоп с грибами.

— Спасибо... Мы еще подумаем, — говорит Марыся.

Главное не вмешиваться. Лучше помалкивать и поддакивать.

— Пока мы думаем, принесите-ка, пожалуй, овощной суп с сухарями, — говорю я.

Марыся одобрительно кивает.

— Что-то я сомневаюсь в цесарке, — говорит она.

— Я тоже.

— Арманьяк чересчур мужествен.

— Да, — механически говорю я. — Запах арманьяка долго не выветривается, потому что его отстаивают в бочках из "черного" дуба.

— Какая у меня интуиция!

— Да.

Нам приносят суп. Его пикантные запахи щекочут нос, и я несколько раз чихаю.

— А давай возьмем ягненка, — оживает Марыся.

— Гениально!

Нам приносят ягненка и вторую бутылку риохи "Бордин" 1982 г. Самое глупое, что интуиция у нее действительно зверская. Такого сочного ягненка я ел только в Карпатах, где мы провели медовый месяц с Линой. Я подзываю официанта:

— Простите... ягненок так сочен, будто его задрал волк.

Официант благосклонно улыбается и уходит справиться у шефа.

— Нас не выгонят? — ядовито спрашивает Марыся.

— Это был комплимент. Только в дикой Польше не знают, что ягнята, задранные волками, самые вкусные.

— Хорош у тебя критерий дикости!

Официант возвращается. У него такое выражение лица, словно его назначили премьер-министром.

— Сэр, вы абсолютно правы. Нам доставили сегодня из Сьерра де Сан Педро дюжину ягнят, задранных волками.

Моему торжеству мешает одно: я не знаю, где эта или этот Сьерра... де... и прямо спрашиваю:

— Откуда?

— Это на испано-португальской границе... знаете, там фермерам выплачивают компенсацию за ягнят и овец, потому что волки стремительно исчезают. Так что все в выигрыше.

Марыся бестактно переходит на русский:

— И овцы целы и волки сыты, — как говорят в твоей цивилизованной отчизне.

Улыбаясь, я отвечаю официанту:

— Сеньоре тоже очень понравился ягненок.

Пока официант выбивает счет, я успеваю сказать Марысе, что при всей безупречности русского, ее тяга к поговоркам все же выдает в ней бывшую студентку Лондонской Школы славяноведения.

Вместе со счетом официант приносит трубку:

— Сэр, вы случайно не забыли трубку, когда обедали у нас в прошлом году?

Я беру трубку. Отвечать не тороплюсь. Трубка ирландская. XIX век. Чашечка в форме котелка на треножнике. Просто, красиво. Классические ирландские трубки — в форме арфы или волкодава — на мой взгляд слишком вычурны. Воспользуюсь случаем и напомним нашим слушателям, что табак впервые попался на глаза европейцам в 1492 году. Если быть точным, то попался он на глаза двум европейцам, сотоварищам Колумба Родриго де Хересу и Луису де Торресу. Случилось это на острове Куба. Именно там им повстречался обнаженный абориген с сигарой. Спустя век "питье табака" вошло в моду в Испании и в Португалии. Английское светское общество к курению приучил сэр Уолтер Райли. Тогда (XVI в. от Р.Х.) трубки делали из глины. У Шекспира табак нигде не упоминается, но Шекспира "энциклопедией английской жизни" назвать трудно.

— К сожалению, сеньор, это не моя трубка. Я бросил курить в позапрошлом году, — говорю я.

— Какая жалость, сэр... Вы, случаем, не дублинец?

— Нет. Я не дублинец и даже не ирландец.

Мы рассчитываемся и уходим. Что за шпионские дела?!

Да, не к слову будет сказано, но линин отец умер от рака легких, потому что не курил только во сне. А Лина до замужества считала, что "дублинцы" — это название еврейско-украинского местечка. Не так уж ошибалась.

(ИРЛАНДСКИЙ РОМАНС)

*Ну, а теперь я скажу, каким образом трогает ноздри
Запах...*

Лукреций

Лопается колокол церкви Св. Марии. Разбивается вдребезги бокал. Нет. Это звонок в дверь. Я ковыляю за мамой. Морозный дым Забайкалья, и в его клубах соседка.

— Светлана Ивановна! Не займете тысячу рублей?

— Ну что вы, Маша! Да откуда у нас такие деньги? Все потратили на облигации... муж ведь партийный.

Ужасаясь собственному голосу, я лопочу:

— Ма, ты забыла, папа вчера зарплату принес.

— Геночка, иди, играй.

Я ухожу, но не в детскую, а на кухню. Там лежит мое вождение. Это ледяной кулич молока. С виду он похож на кубышку для лото, но раз в тысячу больше. Хотя и раз в сто меньше, чем кадка, в которую летом мама собирает дождевую воду. Я обнимаю и лижу. Лед с привкусом молока. Иногда попадаются деревяшки, елкины иглы. Я их выплевываю, и пока мама объясняется с соседкой, лижу, нюхаю, лижу.

Думаю, Овидий вспоминал свою до-ссылную жизнь, как детство. Зато его ссылка — это мое детство:

Видел и ты, как в лед застывает Понт на морозе,

Как без кувшина вино форму кувшина хранит.

Лучше бы я провел детство на Дунае, а не в Забайкалье. Там бы я нюхал ледяную глыбу вина. Запах — это лицо вира. Моему неутолимому горлу прописана ингаляция. В ингалятории может пахнуть чужим углом или родной сторонкой. О родина моя! Какая?

..И винной пробкой пахло.

— Отлично! — сказал бы Главный Дегустатор. Пастернак прав: винная пробка острее пахнет вином, чем само вино. С нее профессионал и начинает. Все-таки Пастернак — через маму и папу — поэт средиземноморский. Вот она, интуиция гения, бросающая вызов мастерству ампелографа. Сперва поэт оценивает вино на запах:

Засим, имелся сеновал
И пахнул винной пробкой.

Затем на вкус:

В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захлоделости на вкус
Напоминая рислинг.

Добавим, что никакой гений ампелогрaфии не додумался бы до характеристики "захлоделость". Но тут же Пастернак делает обаятельный промах, завершая — вместо того, чтобы начать — цветом. Причем винит во всем сентябрь, мол, сентябрь

То, застя двор, водой с винцом
Желтил песок и лужи...

Незадача, как с Пушкиным: "слыхали львы", "водой свинцом". Но суть не в омонимах, а в том, что гений одной левой отмечает то, на что ампелограф кладет всю свою жизнь. Поэт не научается, а знает, что нос тоньше языка. Язык — простак: это сладкое, это кислое, это соленое. У запаха же прямой выход на память. Если нос несовершенен, то приходится полагаться на цвет, на вкус. Да, я согласен: профессионал играет на всех инструментах, но все-таки первая скрипка — нос. Потому я понимаю, но по-человечески не одобряю сплевывания вина в ходе дегустации. Язык только подтверждает то, что учуял нос. При этом... Не хочу противоречить себе... Ладно, начнем с пробки. Теперь... наполняем бокал на одну треть... подходим к белой стене... слегка наклоняем. Беззащитней всего цвет у самой

кромки: глубина... свежесть... выдержка. Чистойшая рихоа альта. Это вам не ко-продукция: франко-немецкая, итало-французская, франко-итальянская... Да, чтобы не прослыть снобом: ампелография — наука о видах и сортах винограда. Она отчасти напоминает литературоведение, ибо для ампелографа вкус не менее важен, чем опыт, знания. Некоторые ампелографы не сходятся даже на дефинициях сортов. Ряд экспертов считает, что галисийские виноградники "на самом деле" разновидность рислинга, завезенного германскими паломниками в Сантьяго-де-Компостела... Да, может, этот "ряд" прав. Галисийское рибейро пить действительно невозможно. Нет! Я не германофоб. Я люблю зеленый цвет мозельских и коричневый колорит рейнских бутылок. Люблю эльзасский бокал на длинной зеленой ножке. Она, ножка, бросает зеленоватый отсвет на красное вино. Пальцы на ножке... тепло подушечек надежно удалено от вина... Но еще больше люблю бургундскую серебряную плоскую. Во-первых, ее не разобьешь. Во-вторых, ее удобно носить в кармане. В-третьих... в темноте погреба она красиво поблескивает. Нужно ли "в-четвертых"? Я не против, я "за" резные трирские (treviris) бокалы. Но они благородней мозельского, которым их наполняют... Да, не одобряю сплевывания. Понимаю: обонятельные ассоциации будоражат память. Дегустатор, wpływший в детство, рискует своей репутацией. Но слава Богу, Дионису, у меня другая профессия. И могу позволить себе... Вот, позволяю. Вместе с теми рейнскими варварами, о которых в XVII в. от Р.Х. было сказано: "Когда вино замерзает, они должны раскалывать его мотыгами и топорами". Это ледяное вино я впитал с молоком, купленным матерью на читинском рынке.

- Ты раньше сочинял стихи, рассказы.
- Я и сейчас сочиняю.
- Прочти.
- Ты в каком месяце родилась?
- В конце июня.
- Ты созвездье Рака
Из вселенной ос,
Баскская собака,
Андалузский пес.

- Гм.
- Почему ты не смеешься?
- Иностранка!

(БАРРИ! МАРЫСЯ ДОЛЖНА ГОВОРИТЬ С ЛЕГКИМ АКЦЕНТОМ)

Было у греков такое выражение: сумасбродствующие от лакомливости. Слабый пол Сан Себастьяна собирается в кондитерских. Губная помада смешивается с кремом. Это шоколадное барокко. Алкоголь истощает. Шоколад громоздит. Алкоголик гибнет от измождения. Обжора от пресыщения. Шоколадные обжоры — особого толка. Они всегда богаты. Они на фоне красивой мебели. Их трюфельное обжорство пахнет лучшими духами. Они в подпруге тончайшего белья. Для алкоголика любовь к обжоре роковая. Алкоголик победим. Обжора неборима. Дальше, как можно дальше от ее созвездия!

У Босха есть картина "Стол смертных грехов. Обжорство". На этой картине (масло по дереву) помимо толстяка-обжоры изображен на тонких-претонких ножках пьяница, обглоданный алкоголем. Он стоит, присосавшись к кувшину. Или наоборот: кувшин впился в него. Пьяница у Босха куда выразительней обжоры. Художник, пренебрегая темой, остается верен правде жизни: пьянство интенсивней, психологичней, одухотворенней.

Каждый народ пьет то вино, которое он заслуживает.

Из разговора с самим собой

- Марыся, зачем ты крутишь мое ухо?
- Я тебя включаю, чтоб ты рассказывал.
- Я разучился рассказывать. Могу только читать перед микрофоном.
- Ну, прочти.
- Вот, наброски к передаче... Там будет еще старинная музыка, запись службы в лондонском соборе Св. Павла, элегии.
- Давай.

Как-то я приехал в Эдинбург записать передачу о трех местных устричных барах.

Oyster Bar Enterprises Limited



The Café Royal
Oyster Bar

Head Office:
17a West Register Street
Edinburgh EH2 2AA
Telephone: 031-556 4124

ST JAMES
OYSTER BAR

2-6 Calton Road
Edinburgh EH8 8DP
Telephone: 031-557 2925

QUEEN STREET
OYSTER BAR

16a Queen Street
Edinburgh EH2 1JE
Telephone: 031-226 2530

К великолепным устрицам во всех трех барах подают декадентское пиво бельгийских монахов. Меня сопровождал мой всегдашний режиссер Барри. Благодаря ему я попал в гости к его однокашнику по Итону. Первым делом однокашник предложил выпить. Он спустился в погреб и вернулся с несколькими бутылками вина.

— Сам делал! — гордо сказал он.

Действительно, судя по белым ярлычкам, приклеенным к бутылкам, и по датам, написанным от руки, вино было самодельным. Я удивился: А где же ваш виноградник?

— Это растворимое вино, — ответил хозяин.

— В каком смысле?

— Знаете, в аптеках продается вино в таблетках, растворимое вино.

— А... почему на каждом ярлычке указан год?

— Это год, когда я растворил таблетку.

Из приличия я отпил глоток. Вкус помню до сих пор: словно хлебнул таблицу Менделеева, растворенную в воде.

Но было бы несправедливо из-за этого недоразумения списывать одним махом винный потенциал Эдинбурга или Лондона. В обеих столицах бездна винных лавок, издавна завозящих и торгующих отменными заморскими винами. Одно время я захаживал на распродажу вин на столичные аукционы. Цены на марочные сорта кларета или портвейна столь надежны, что они вполне играют роль твердой валюты, как произведения искусства или рукописи классиков. На аукционе "Кристи" я

даже купил бутылку "Шато Латур" 1985 года за 28 фунтов стерлингов. В лавках цены тоже растут, хотя по-разному. Бордо в сравнении с шестидесятыми годами подорожало более чем в десять раз. А вот рейнские и мозельские вина только в три-четыре раза. На аукционы я перестал ходить из-за публики. Там собирается много органически чуждых мне людей: любителей портвейна. Лишь однажды сердце мое екнуло, когда один из портвейнофилов купил бутылку "Массандры", если мне не изменяет память, 1934 года. Заплатил раза в два дороже, чем я за свой "Латур".

Но дело не в количестве вин, а в качестве отношения к ним. Вопрос этот глубоко религиозен. В год смерти вождя Контрреформации, баска Лойолы (1556 г.) будущей британской королеве Елизавете I исполнилось двадцать три года. На престол она взошла двумя годами позже. Весь ход религиозно-исторических событий в Европе принуждал Елизавету возглавить протестантскую Реформацию. Но она ловко увилывала. И все же в 1570 году Папа Римский отлучил ее от своей груди. Благодаря этому в Англии окончательно утвердилась англиканская церковь. На уровне быта, психологии Англия еще долго оставалась католической, но понемногу новая церковь подталкивала страну к более умеренному образу жизни. Этот переломный исторический момент длиной в столетие буквально переламаывал жизни и судьбы. Поэт Джон Донн перебежал из католической в англиканскую церковь уже в зрелом возрасте, и более того, стал знаменитым проповедником. Но в поэзии он остался католиком римского склада, т.е. поэтом избыточным, роскошным. В этом смысле вся Елизаветинская эпоха, вопреки церковному расколу, по своей плоти была римско-католической. Это понимаешь, читая не только Джона Донна, но и листая тогдашние поваренные книги. Англиканская церковь победила окончательно, когда вываренные овощи вытеснили со столов трактиров и замков свежую зелень.

Но и в нашем веке жили и живут англичане, чье родословие как бы перепрыгивает через три последних столетия. Романист Ивлин Во замечательно писал о мистической связи вина в бутылках с лозой: "Когда виноградный сок каплет где-то в долине Кот-д'Ор, за тысячи миль от нее в тысячах винных погребах французское вино в бутылках подрагивает и откликается". Но Ивлин Во был католиком. И судя по его отношению к вину,

его католицизм был не капризом сноба, а содержимым его жизни. Или еще одна цитата. На этот раз из Олдоса Хаксли, выходящая из самой что ни на есть англиканской семьи: "У шампанского вкус яблока, очищенного стальным ножом". Такую чувственную остроту и у французов не часто встретишь. Откуда? Почему? Да, Хаксли жил в Италии, во Франции, жил и умер в Калифорнии. Был женат на бельгийке. Но почему такой крен? Думаю, вот почему. В семнадцатилетнем возрасте Хаксли начал терять зрение. Он даже был вынужден прервать учебу в Оксфорде. Готовясь к худшему, Хаксли выучил азбуку для незрячих. Скорее всего именно в этот период обоняние и слух писателя совершили качественный скачок. Он почувствовал вкус винограда, услышал голос вина.

Марыся прижимает к моему уху бокал каталонского шампанского "Кастельбланк". Что слышу я в этой тонкостенной раковине? Нет, не океанскую пучину... я слышу шипенье плиты на нашей читинской кухне и глубокий, как море, голос мамы.

Подозреваю, что тайная страсть капитана Кусто — амфоры. Из-за них он обшарил — дюйм за дюймом — дно Средиземного моря. Не знаю как капитана, но меня больше всего волнуют амфоры, в которых хранилось вино. Амфора со смолой, медом, маслами, орехами, соленой рыбой почему-то прозаичней. Принято считать, что вино из амфоры разливали в более мелкие сосуды. Но, к примеру, сирийцы и египтяне сконструировали целую систему трубок и посредством их посасывали вино прямо из амфоры. Трубки изготовлялись из полого тростника и стыковались с помощью металлических скоб. Пока раб поддерживал конструкцию руками, хозяин сидел в кресле и дул в свое удовольствие. Подозреваю, что раб к этой работе относился небезучастно. Сохранилась терракотовая фигурка раба (4 в. до Р.Х.). Он сладко спит, прижав щеку к округлому бочку амфоры. Скульптурка удивительно гармонична. К слову сказать, опустошенную амфору использовали не только для орехов, меда или соленой рыбы. В ней могли хранить и пепел усопшего. А амфору, умело расколотую надвое, использовали в качестве гробов для младенцев. Известен и такой случай: в ходе войны в центральной Греции одна из противоборствующих сторон вырыла на горной тропе длинную траншею, замостила ее осколками битых амфор, присыпала траншею землей

и, таким образом, уничтожила конницу противника. Представляю, какой хруст там стоял.

На местных рынках Средиземноморья вино обычно продавали в кожаных бурдюках. Амфоры же шли на экспорт. Теперь по клеймам на них можно не только установить, где и кто изготовлял вино, но и прочертить торговые маршруты: ведь археологи находят сосуды в краях, куда негоцианты привозили вино. Жителям Крымской Республики будет приятно узнать, что Синоп и Херсонес успешно соперничали с Косом, Паросом, Родосом, Лесбосом, Хиосом. Лично я мечтаю обшарить дно Средиземного моря где-то между Критом и Египтом. В этом районе команды парусников по традиции приносили в жертву богам одну амфору с вином. Так что и поныне в средиземноморском песке хранится вино четырехтысячелетней выдержки, если боги пренебрегли жертвоприношением.

*Бог ты мой, испанское вино, ну и дрянь.
Кошачья ссака в сравнении с ним шампанское.
Да это просто гниlostная моча старой клячи.*

Д.Г. Лоуренс

Иисус Христос сотворил чудо: претворил воду в вино. Испанцы творят не меньшее чудо: претворяют вино в воду. Я сам видел, как в засуху близ Кадиса почву орошали не водой, а вином. На строительстве близ Понтеведры я видел, как в известковый раствор вместо воды подливали вино. Так получилось, что в Англии лучше знают не натуральные, а крепленые испанские вина.

— Можно сегодня херес? — неуверенно говорит Марыся, переходя с польского на английский акцент. Мне даже кажется, что она сказала "шерри".

— Хорошо, — вяло отвечаю я.

Марыся приучала меня к хересу еще десять лет назад в Лондоне. В Англии херес любят не меньше, чем в самом Хересе. Причина, по-моему, простая. Отличные вина из Франции часто доплывали до Англии подпорченными. В херес же, чтоб он доплыл в полном здравии, добавляли бренди. Он и доплывал. Я

хереса побаиваюсь: не могу точно определить, чем удобряли виноград, из которого сделано "фино" или "олоросо", — первоклассным лошадиным навозом или свиным дерьмом. Может, это и трусость. Сухое "фино" (т.е. "хорошее", по-украински "файно") мне даже нравится. Но еще больше мне нравится ореол вокруг хереса, его образ. С восторгом думаю о тысячах белых голубей, взмывающих в небо Испании в тот день и час, когда из пресса капают первые капли будущего хереса. Умиляюсь хересцам, которые, откупорив бутылку, первый глоток уступают своей благодатной почве: "Спасибо тебе, земля хересская!" Даже история хереса романтична и трогательна. Вот мавры. Мусульмане, а не выкорчевали виноградников, позволили неверным заниматься своим грешным делом. И себя заодно не обделили: виноград пощипывали. А как помогли хересу диссиденты-изгнанники: английские католики, французские гугеноты! Или такой факт: в результате разгрома Наполеона победу одержал херес! Он завоевал Англию, Голландию, Германию, Бельгию! Думаешь обо всем этом, и сердце теплеет.

— А знаешь, Марыся, не такая плохая идея. Здесь хоть из правильных бокалов пьют, не то что в английских пабах.

Марысины губы приближаются к моим, но в последний момент я успеваю досказать:

— Классические бокалы для хереса напоминают тюльпаны, а не...

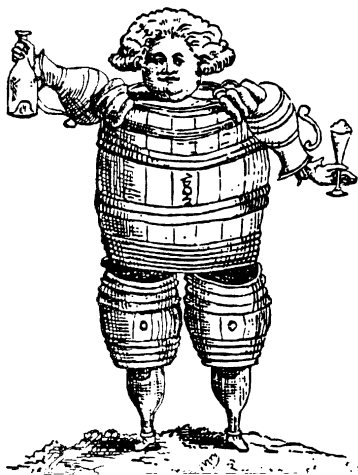
Всем известно, что самые опасные враги виноградаря мороз и град. С ними борются ракетами, газовыми факелами, гигантскими покрывалами. Но есть — старожилы еще помнят — враги и пострашней.

В 1863 г. Наполеон III попросил микробиолога Луи Пастера, внесшего большой вклад в теорию брожения, разобраться в причинах понижения качества вина на пути от производителя к потребителю. Наполеон III руководствовался не столько гастрономическими соображениями, сколько финансово-экономическими: французские торговые круги несли серьезный убыток, а репутации Франции как торгового партнера был нанесен не менее серьезный ущерб. Л. Пастер выяснил, что порче вина способствует кислород. Известен портрет ученого с колбой в руке. Он в сюртуке, при бабочке. Взгляд его испытующ и сух. Мало кто знает, что в колбочке белое вино и что

Пастер прекрасно понимает, как им следует распорядиться. Ученые труды Л.Пастера повлияли не только на виноделие, но и на бочарное производство. Бондари стали пригонять клены куда тщательней, чтобы, таким образом, свести до минимума проникновение кислорода в бочку. Казалось, цивилизованный мир мог спать спокойно и молиться перед каждым возлиянием за Л.Пастера. Но не тут-то было. В семидесятых годах XIX в. на виноградники европейского Средиземноморья обрушилась американская муха "филоксера". Она превращала виноградины в подобие старушечьей груди. В Италии, 80% населения которой получало тогда доход, пахнувший вином, "филоксеру" восприняли как чуму. Самым популярным святым стал Св.Себастьян. Филоксерная контрреволюция представлялась современникам винным апокалипсисом. Виноградари Бордо бежали от нее в Испанию, в волость Риоха. С некоторым опозданием "филоксера" пустилась вдогонку, но кое-чему бордосские умельцы успели обучить аборигенов. В конце концов, муха догнала их в Риохе и вынудила вернуться на родину. Р.Л.Стивенсон ("Йо-хо-хо, и бутылка рому!") взволнованно писал: "Неодолимая гусеница завоевывает солнечные земли Франции. Бордо больше нет. Шато Неф погибло, а я так и не пригубил его. Эрмитаж — воистину эрмитаж всех жизненных печалей — бездыханно поник вдоль речных берегов... Нет, не только Пан, сам Бахус погиб". Об этом стихийном бедствии помнят теперь разве что старожилы...

(МУЗЫКА ИЗ ОПЕРЫ К.ДЕБЮССИ "ДИОНИС")

*Участник карнавала
в Сан Себастьяне*





*Баскский виноградарь. Снимок довоенный.
Боюсь, виноградаря уже нет в живых*

*Ублажи собаку костью, а женщину ложью.
Баскская поговорка*

Телефон в Лондоне.

— Алло!

— Чипполина?

— Ладно. Чипполина.

— Выручай. Тут мне на голову свалилась Марыся. Ты ее помнишь?

— Еще бы!

— Умоляю. Позвони в пансион, попроси сеньору Марысю и скажи ей, что ты приезжаешь.

— А моя гордость?

- Что для тебя важнее: семья или гордость?
— Ты что, по радио выступаешь?! Выпутывайся сам!

Боюсь, расхожая фраза, что небо Сафо и Софокла, Овидия и Калигулы наслаждалось тем же вином, что и наше, далека от истины. Истин столько же, сколько вин. А вин столько же, сколько виноградников. Тема этой передачи: "Существует ли прогресс в виноделии?"

("ТОРЖЕСТВО ВАКХА" А.С.ДАРГОМЫЖСКОГО)

Одна из любимых греческих игр называлась "коттаб" (от одноименного металлического сосуда). Суть игры сводилась к прицельному выплеску вина, оставшегося на дне кубка, в металлический сосуд. Для нас, людей XX в. от Р.Х., естественно, что резина и кожа (мячи), бумага (игральные карты), пластмасса, кость, дерево (шахматы) имеют самое прямое осязательное отношение к играм. Для античного мира вино было основой быта и досуга. Понятие "вино играет" имело буквальный смысл.

Римский поэт Тибулл (1 в. до Р.Х.) восклицал:

Дайте бочонок теперь продымленный
с древним фалернским,
Выбейте втулки скорей кадок с хиосской струей!

Здесь речь идет о совершенно разных винах: хиосское — это греческое островное вино, а фалерн — италийское. Что означало для Тибулла и его современников "древнее"? По тогдашним меркам лучшим фалерном считалось вино пятнадцатилетней выдержки. Вот тебе и древнее! Но речь, возможно, идет не о выдержке, а о древности самого сорта вина. Поговорим о древних винах подробней. Боги, изрядно помучившие Одиссея, в вине ему никогда не отказывали. Навсикая велит девам принести выброшенному на берег Одиссею еды и вина (в русском переводе оно скромно названо питьем). А вот в какой темнице томится Одиссей у Калипсо: "Сетью зеленой стены глубокого грота окинув, // Рос виноград, и на ветвях тяжелые грозды висели". Отец Одиссея, Лаэрт, не уступает сыну и в своем саду печется о "сочных гроздах лоз виноградных". Тогдашние тракта-

ты, стихи, высказывания Любомудров дают основания считать, что культура вина в античном мире была на самом высоком уровне. Гесиод тонко замечает, что "процеживание подсекает жилы вину и угашает теплоту... обабливает его". Плутарх дает изысканный совет: пить молодое вино после того, как подует зефир, ибо этот ветер более других воздействует на вино. Что касается цвета, то прежде всего греки ценили "огнистость" вина (ср. с Н.В. Гоголем: "Зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные"). Чтобы добиться должного цвета, греки порой подкрашивали вино соком алоэ, корицей, шафраном. Вот еще одно свидетельство утонченного отношения к вину: правило "пять кубков — да, три кубка — да, четыре нет", описанное Плутархом. Одобряется следующая пропорция смешения вина с водой: два кубка вина плюс три кубка воды; один кубок вина плюс два кубка воды. Осуждается: один кубок вина плюс четыре кубка воды.

И тут пора сказать не об изысканном отношении к вину, а о качестве вина. Дам волю своим "жилкам языка". Ладно, не буду оценивать молодое греческое вино, поскольку оно было сладким. Бог с ним, точнее, боги с ним. Но вот другой факт: греки разводили вино теплой (!) водой. А между тем температура вина не менее трогательна, чем температура ребенка. Далее. Перед переливанием сула в амфору дно амфоры смолили. (Может быть, из современных вин по запаху ближе всех к тогдашним новогреческая рецина, тоже отдающая смолой). Чтобы вино не портилось и хорошо переносило путешествие, в амфору добавляли мраморную пыль, пепел, известку, морскую воду. В лесбийском вине морская вода составляла два процента. Амфору закупоривали и горлышко заливали известкой. Хранили амфору в погребе, рядами к стене, горлышком вверх. При употреблении вино часто кипятили и, таким образом, доводили до состояния сиропа, так что волей-неволей приходилось разводить его водой (Спарта была исключением: там вино не разводили). Да, возвращаясь к молодым винам: не мудро, что греки не доверяли осенним снам, ибо брожение молодого вина нарушало телесный строй. (Замечу в скобках, что в неблагоприятное воздействие бобов и головы осьминога на сновидения я не верю).

Ну, а что же Рим? В Риме чашиков называли *procuratores vinorum*. Римское вино было мутным. Перед употреблением

его отцеживали, а потом фильтровали посредством туго сплетенной корзины или холста. Во время обеда римлянам воду к вину подливали по желанию пьющего. Но на ужин вино и воду смешивали в обязательном порядке для всех. Чтобы вино охладить, кратер ставили на лед или бросали в него мешочек со льдом.

В эпоху Клавдия вино начали пить на голодный желудок: так греческая цивилизация, потерпев поражение на поле брани, брала реванш в быту. Гораций писал: "Рим превратился в морального раба поверженной Греции". Почему "морального", а не чувственного? Плиний Старший в своей "Естественной истории" бесстрастно описывает римских вырожденцев, которые, не накинув туники, не сев к столу, осушали огромные чаши вина, тотчас сблевывали и повторяли всю эту процедуру дважды и трижды. Известно, что миланский претор Новеллус Торкватус, фаворит императора Тиберия, сделал карьеру благодаря способности многожды сблевать.

Странно, но варвары отнеслись к виноградникам юга Европы с почтением и даже способствовали их распространению. Визиготы сурово наказывали тех, кто выкорчевывал виноградники или похищал гроздь. В IX в. от Р.Х. галльскому монаху полагалось больше двух литров вина в день. Но Темная эпоха — темное вино.

В обозримом прошлом самое интересное — это взаимоотношения между вином и тарой. Современные бочки по качеству несравнимо выше, чем бочки двухтысячелетней или двухсотлетней давности. Это важно, поскольку вино в бочке легко передержать. Оно блекнет, теряет остроту, свежесть, кокетство. По крайней мере, так было еще две сотни лет тому. Тогдашние винолюбы знали, что лучшее вино в средней части бочки, на дне — осадок, а сверху окисленный воздухом компот. Три столетия назад легкая бутылка потеснила увесистую бочку, которая ходу-бедно служила вину несколько тысячелетий. Отдадим ей должное. Да, бутылками пользовались и в эпоху бочки, но лишь для того, чтобы донести вино до стола, а из них наполнять чаши и кубки. Но не следует думать, что современная бутылка, замечательно хранящая вино, всегда была такой, какой мы ее знаем. В XVIII в. она выглядела как наши бабушки: надежные широкие бедра, неохватная талия — не бутылка, а фляга. Ее сменила широкоплечая толстостенная бутылка. Поне-

многу она вытягивалась, стройнела. В погребе ее перевели из вертикального положения в горизонтальное. Но не нужно упускать из виду главного: бутылка с помощью надежной пробки решила конфликт между вином и воздухом. Лично я верю, что нынешнее вино лучше древнего. Прогресс в виноделии я объясняю логически: как вино мужает со временем, так и вся винодельческая культура мужает с каждым тысячелетием. Виноделие — не литература. Прогресс в нем возможен. Этот тост — рюиха "Лан" 1986 г. — за прогресс!

(*"ТОРЖЕСТВО ВАКХА" А.С. ДАРГОМЫЖСКОГО*)

В этой пивной — гнилое пиво бельгийских монахов "Maredsous". Пьешь и вот какую иллюзию создаешь: в Афинах видишь себя рабовладельцем, а не рабом. В Риме виноградарем. В Темные века монахом-чашником, а не крепостным. Сюда я еще вернусь



Баклажка прокатилась по столу и сделала гостей еще веселее прежнего.

Н. Гоголь

— Все замечательно, Гена: элегии Джона Донна, музыка Перселла, служба в соборе Св. Павла. Но... где женские голоса?

— Знаешь, я сам голову ломаю. Но вино и женщины — тема декоративная. Как херес и табак, коньяк и красное дерево,

ликер и бархат. У женщин отношение к алкоголю особое. Ты замечала, кто в первую голову пьет кампари? Стоит женщина, а у нее в руке горит красный бокал. Стоп!

— А испанки, баски?

— Я думал... В Басконии еще живы традиции ведьмачества. И тут материал для радио отменный: местные ведьмы обожают тамбурин и танцуют исключительно под тамбуринную музыку... но они пьют другое зелье!

— Хорошо, а если такой ход: женщина и бокалы. Скажем, стоит на кухне женщина и полощет бокалы теплой водой. После, как и положено, протирает их пальцами, а не кухонным полотенцем. Расставляет в просторном буфете горлышком вверх. Если буфет тесный, то наоборот, вверх дном. Нюхает бокалы. Они дышат сухо, легко, по-осеннему благородно.

— Но это уже кино, а не радио. Где там женский голос? Разве что легкое дыхание. И что такое, по-твоему, благородное вино?

— Ну... во-первых, сорт винограда, во-вторых, почва, в-третьих, высокий профессионализм. Правда, профессионалы часто темнят: сорта винограда не называют, а только хутор, деревню, волость...

— Все это так... Но у благородства свой климатический, топографический и, как ни странно, национальный колорит. Скажем, для испанского вина бочка сыграла такую же роль, как колесо для транспорта. Баки, мехи, бурдюки огрубляли вино. Дубовая бочка совершила социальную революцию: появились вина-плебеи, вина-аристократы, вина-женщины... Дубовая бочка стала символом достатка винодела. Да, счет пошел на бочки!

— Ты говоришь "вина-женщины". А знаешь ли ты испанскую писательницу Марию де Сайяс-и-Сотомайор?

— Спрашиваешь! Ее творчество приходится на XVII в. от Р.Х...

— Так вот, послушай цитату из ее прозы: "Причем все орошалось тою влагой, которую народ прозвал святым подспорьем бедняков и которая, изливаясь из пузатого глиняного сосуда, словно лед, холодит уста, а сама словно огонь, не зря один любитель именовал такие сосуды хранилищами огня".

— Здорово! Может, я это использую там, где об "огнистости" вина. Или где про стекло и глину. Про последнюю есть

что сказать. "От глиняной чарки веет чистотой" — знаешь, откуда?

— Старинный японский текст. Тоже, между прочим, женщина написала. Но про бочку, Гена, ты тысячу раз прав! Ведь почему со временем качество вина улучшается? Да потому что в состав продукта входят кислоты, сахар, пигменты, эфиры, танин. Пока они в бочке не споются, не сыграются, букета не соберешь! Только гармоничные отношения могут вылиться в высокое качество продукта.

— Если я тысячу раз прав, то ты — десять тысяч! Замечала ли ты, Марыся, что у древних египтянок изумительно стройные фигуры?

— Да, они сложены божественно.

— А почему римлянки рыхловаты?

— Потому что римлянкам пить вино воспрещалось, а египтянки пили наравне с мужчинами.

(ТЕЛЕФОН В КОРИДОРЕ. ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ:)

— Сеньора, вас к телефону.

Марыся выходит и возвращается через пять минут. Подносит красную риюху "Бордин" 1985 г. к побелевшим губам.

— Гена! Свои семейные дела устраивай сам. Ты меня проводишь в Бильбао?

(МУЗЫКА ИЗ ОПЕРЫ М.МУСОРГСКОГО "СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА")

Он дошел до той черточки пьянства, когда иным пьяным, дотоле смирным, непременно вдруг захочется разозлиться и себя показать.

Ф. Достоевский

Положительные эпитеты о вине: нервное, породистое, чистое. Как о животных. Во рту вино встречается с душой. Это любовное свидание.

Откупорив бутылку, понюхайте пробку и протрите горлышко. Перелейте вино из бутылки в кувшин под углом 120°. Бутылку вместе с осадком выбросьте. Лучшее всего осадок высвечивается свечой. Ее ставят под горлышком: осадок скапливается в зобу бутылки. Охота на осадок может доставить большое удовольствие. Благородство вина — в его демо-

кратизме. Вино должно пахнуть дубовой бочкой, но в меру, чтобы происхождение запаха оставалось загадкой. Еще оно пахнет смородиной, земляникой, орехом, персиком, дымом, пармской фиалкой, резиной, горчицей, сыроежками, перцем, шерстью.

Вот что я ненавижу: пристойные, но безликие вина на всякую глотку. И я во всю свою протестую: пусть вина двух соседних деревенок в Бургундии или Наварре остаются разными, непохожими, пусть их не смешивают. Вина всех виноградарей мира, не соединяйтесь!

Если в баре отключить шум и стереть случайные жесты, а оставить только движения рук по направлению к бокалу, приближение вразброд белого и красного к жестким мужским и напыленным женским губам, наклон легкой, как качели, бутылки, мягкий выдох из горлышка, то в этих движениях, наклонах можно увидеть волшебную пантомиму, которую невольно разыгрывают люди у стойки. Есть такая маленькая нация — люди у стойки. Из их пантомимы рождается звук, мелодия, но ее должно записывать нотами, которых у меня нет. *(МУЗЫКА ИЗ ОПЕРЫ Ж. МАССНЕ "ВАКХ")*

Прямо из Бильбао я послал Марусе телеграмму.
ДВЕ ЧАШИ ТВОИ ВЫСОКИХ ТЧК ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ
ВПРС ЗНК Я БЫ НАПОЛНИЛ ИХ ПОЦЕЛУЯМИ ЗПТ НО ОНИ
БЕЗДОННЫ ТЧК ЛАДОНИ МОИ ХРАНЯТ ФОРМУ ТВОИХ
ЧАШ ТЧК ЕСЛИ ТЫ ПОВЕРНЕШЬСЯ НА БОК ЗПТ ВИНО ПРО-
ЛЬЕТСЯ ТЧК КРАНИК Я МИРОВОГО ВИНОПРОВОДА ТЧК
НЕ РАСТАЯТЬ ЛИЛОВЫМ СОСКАМ В ЭТИХ ЧАШАХ ВСКЛ
ЗНК

Что пьют бродяги? Не поленился. Зашел ночью на рынок. На деревянных скамьях пустые пакеты из-под краснейшего "Монтэпеняс", литровые бутылки из-под "Солдэпеняс", литровые из-под розового с заветным вензелем "МХ". У меня тотчас началась изжога. Одиноким забулдыга, накинув на плечи одеяло, нюхал пальцы ног. Чем они пахли? Анчоусами? Сезон анчоусов на носу. А сезон клубники уже начался. У запаха анчоусов цвет клубники. Зашел в два ночных бара. Спросил клубнику и бренди "Маскарò". Бармены меня, кажется, полюбили. Я знаю почему. Раз я возвращаюсь к ним, значит они мне физиче-

ски приятны. Значит, их руками, их дыханием я не брезгую. Физическое признание — самое важное. Сначала руки, лицо, глаза, а после все остальное. Поверхностное отношение к человеку — самое глубокое. Объятия — поверхностны. Истина в них. Почему люди этого города красивей нас? Да потому что мы ютились в подъездах, на парковых лавочках, а они с отрочества целуются у причалов, на пристани, на молу.

*В час меня родили,
В два меня крестили,
В три влюбилась я,
В четыре — я жена.
Баскская колыбельная*

Телефон в коридоре пансиона. Стук в дверь.

— Сеньор!

— Грәсиас!

.....

— Алло!

— Бискайский вечер, Ваша светлость!

— Ее изогнутость Лиана?

— Изогнутость, но не лживость. Я на самом деле прилетаю через неделю. Твоим рейсом.

— Объятия будут распростерты в аэропорту в Бильбао.

— Почему ты не спрашиваешь про Павлика?

— Потому что в марте наш Пол вместе с классом отправляется в Альпы.

— Ты знаешь, почему я сделала тебе предложение... тогда, на Кругло-Университетской? Потому что с тобой легко говорить.

— Продолжай.

— Да, пришло письмо от папиного адвоката. Папа завещал деньги Павлику на школу.

— Видишь, я правильно сделал, что принял твое предложение.

.....
*(ЛИНА И СУЗКА ПРИЕЗЖАЮТ В ОДИН ДЕНЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
БАРИ, МУЗЫКА ПО ТВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ)*

Телефон в Праге.

— Халё!

- Сузка, это Гена.
- Привет, моя психотичная рыбка.
- Ну как?
- Все в порядке. Ты меня встретишь в Бильбао?
- Объятия распростерты.
- Я за тобой скучаю физикально.
- Я тоже.
- Привезьти вина?
- Какого?
- Алжирского.
- Да нет... лучшим древнеегипетским вином был "Маретис". По названию местности. В отличие от почвы долины Нила, в почве Маретиса не было илистой слизи и наносных образований, что благоприятно отразилось на качестве винограда.
- Гена... что-то мой русский сдает.
- Подтянем.

(МУЗЫКА: ТИРОЛЬСКИЕ ЙОДЛИ)

Тупо изучал в кафетерии телефонный справочник. Нашел даже неисторическую родину. У нее два тарифа: европейская зона и экстраевропейская. Под "экстра" понимай Азию. Последняя в два раза дороже. Повезло, что у меня в Забайкалье не осталось родственников. Судя по консульствам, Сан Себастьян всемирная столица. Страдающая цингой Скандинавия представлена здесь в полном составе. Телефоны: 51-26-00 (финское консульство), 46-44-21 (норвежское), 27-33-95 (шведское), 39-92-40 (датское). Есть даже консульство княжества Монако (27-30-59). Нет только "Королевства Соединенного". Какие все же сухопарые недотепы заправляют Хоум Офисом. Вспомним герцога Кларенса, приговоренного к смертной казни братом, английским королем Эдуардом IV. Король по-братски позволил герцогу выбрать вид казни. Герцог выбрал: утонуть в бочке мальвазии (критское вино). Нет теперь таких людей в Форин Офисе. О времена по Гринвичу!

Вышел на улицу. Издали показалось, что в витрине книжной лавки "Барохо" висит гигантская гроздь. Подошел ближе. Выцветшая карта Африки полувековой давности. Вот это имена: ТАНГАНЬИКА, ЛЕОПОЛЬДВИЛЬ, ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ. Аж под ложечкой засосало. Зашел в бар. Проглотил спаржу с гор-

ной сыро-вяленой ветчиной. Запил. Вышел. Другая книжная лавка. Те же лица на обложках: француз с усиками официанта, ирландец в очулярах, чахоточный австрияк. Лет так через двадцать на сансебастьянском кинофестивале покажут фильм обо мне. Фигу с маслом покажут. И на том спасибо: фи́га — винная ягода. Снова зашел в бар. Сел спиной к телевизору. Вдруг по затылку пошли мурашки. Повернулся. Шел старый английский фильм о роковой любви императора Диолектиана к капитану преторианской гвардии Себастьяну. Мой блестящий провинциал из европейской зоны, ты опоздал!



*Когда я прохожу сквозь галереи и арки Сан Себастьяна,
стены за мной, как в молодости, смыкаются,
чтобы сберечь мои следы.*

Были такие одеяла в интернатах и казармах, ржавые, толщиной с бритву. В домах отдыха и санаториях были одеяла лучше — из верблюжьей шерсти. Целое поколение женщин, особенно женщин — они не обрывают нити с детством — до сих пор носит такие пальто. Интернатские спины! Верблюжьих борта! Я их встретил в Сан Себастьяне на неделе советских фильмов. Их показывали бесплатно в Доме Баскской Культуры: на коммерческий успех никто не рассчитывал. Приковыляли, приползли

старые крабы, омары, спруты. Кто в шубке — тот случайно, кто в драпе — тот наш. Значит, были не только "испанские дети", но и "баскские". И вы хлебнули нашего кумыса, баскские щенки! Прочь, ату! Не мешайте, я готовлю передачу о вине. О вине, понимаете, а не о слезах!

Телефон в пансионе.

— Алло!

— Пор фавор, сеньор Люстрин!

— Барри? Это я.

— Значит так, хочешь отпуск в отпуске?

— Нет.

— Тогда езжай дней на пять в Лиссабон, Мадрид и Барселону. Дорогу и гостиницу оплатим. Сделаешь три репортажа.

— А суточные?

— Так ты все равно бы питался.

— Ладно. Попробую надышаться перед ней.

— Прости?

— Идиома такая: перед смертью не надышишься.

— Буду найти в словаре.

— Повтори заодно виды и спряжения глаголов.

— Русский хам.

— Да.

— Будем записать тебя по телефону.

Вступление: "Пиренейские впечатления" — так назвал свое радиопутешествие по Португалии и Испании наш коллега Геннадий Люстрин. Сегодня вы услышите его первый репортаж из Лиссабона. Приступаю к тексту.

Со скоростью миллиметр в год

Что мох и лишайник вовсе не лишены обаяния, понимаешь в Старом Лиссабоне. Бывают города, — по крайней мере, этот город таков, — которые, как скалы, валуны, бутылки, — замшелы. Даже недобритость лиссабонцев того же рода, тех же корней. Даже вино из недозревшего винограда здесь называют "зеленым" — "верде". На восточном полюсе вульгарной латыни, в Кишиневе, с лиссабонским мохом когда-то конкурировали велюровые шляпы ржавого и бутылочного цвета. Чтобы удостовериться в этом, пришлось пересечь весь конти-

нент. Замшелось, ползущая со скоростью миллиметр в год под аккомпанемент швейных машинок, трамваев и аккордеонов — это и есть Лиссабон. Он — столица всех провинций Европы. Можно навязать ему другой образ. Здесь так много стен, выложенных изразцами и кафелем, словно ты попал в гигантскую ванную комнату. Но ведь ванная — это тоже провинция квартиры, дома. Или еще один образ. К барахолкам бессарабских городков Единцев, Бельцев, Липкан — обыкновенно лепятся лавки кустарей, магазинчики артельщиков, фургоны кооператоров. Купить в них можно и вправду все, но "все" третьего сорта: от бессмертных женских трико до мармеладных долек. Торг идет второпях, впритирку, словно в любую минуту может взвизгнуть свисток и грянуть облава. Это тоже Лиссабон. И снова беззащитно провинциальный.

В привокзальном лиссабонском кинотеатре я посмотрел американскую шпионскую мелодраму по роману английского писателя, в которой снят Старый Лиссабон. Это самые обаятельные кадры фильма. Так в рецензии или в литературоведческой статье критический текст вдруг начинает сверкать в свете цитаты. Конечно, цитировать Лиссабон — сплошное удовольствие. Любой фильм выиграет благодаря его присутствию. Этот шпионский фильм завершается хэппи-эндом. Декадентствующий лондонец, который в силу обстоятельств сыграл роль агента Интеллидженс Сервис в России, после всех перипетий встречает в лиссабонском порту свою московскую возлюбленную. Жизнь в Лиссабоне — такой свадебный подарок выбрал британец русской невесте. К сожалению, фильм на этом обрывается, и зрителю не дано узнать, понравился ли москвичке подарок. Жены, вывозимые иностранцами из России, порой ждут от Запада — в обмен на свою высокую духовность — ультрасовременного комфорта.

Я помню лет пятнадцать тому в киевской гостинице "Лыбидь" заезжая московская проститутка, она же гид, рассказывала о своей несложившейся семейной жизни в Белграде. В те времена в компании можно было встретить кого угодно: правозащитника, подпольного художника, секс-диссидентку. В таких цитрусовых рощах мы тогда обитали, в один голос проклиная бабая. Так вот жаловалась секс-диссидентка на то, что "юги" — некультурны, что они жлобы. Я вспомнил о жалобах этой дамы полутьмы, выйдя из привокзального лиссабонского

кинотеатра. Как сложилась бы жизнь московской киногероини, останься она в Лиссабоне? Если бы она не смогла понять, что культура — это не только и не столько воспаленные цитаты из Достоевского, но мох и лишайник, по-черепашьи ползущие по стенам города под аккомпанемент швейных машинок, трамваев и аккордеонов, то дела ее пошли бы плохо, а жизнь сложилась бы глубоко, по-настоящему неталантливо.
(*"ТАНГО ЛИБРЕ" АСТОРА ПАЦЦОЛЫ*)

Вступление. "Эпигоны и традиционалисты" — так назвал свой репортаж из Мадрида наш корреспондент Геннадий Люстрин. Ему слово. Приступаю к тексту.

Бранить музеи можно. От слова не станется. Выстоят. Хвалить музеи рискованно. Того и гляди ляпнешь мудрость, которую разве что ты и не знал. Но все же я хочу похвалить мадридский Прадо. Он не унижает посетителя. В прямом смысле "не унижает". Ты не становишься в нем меньше, ниже. Нагромождение или, как говорят украинцы, "накопѣччя" шедевров в Прадо оставляет тебя при твоём росте и стати. Я упоминаю рост и статью, потому что именно в Прадо благодаря трем художникам — Эль Греко, Веласкесу и Гойе — что-то понял про протяженность человеческого тела, про немой разговор тела с окружающим пространством.

Какие-то невидимые тиски сжимают с боков картины Эль Греко. Его евангелисты и святые мосласты, жердясты. Виски их сдавлены, щеки впалы, уши заострены. Фас усечен до профиля. Плюсны, фаланги пальцев, скулы сплющены. Руки подъяты, очи возведены горе — рама им не помеха. Картины вытягиваются, становятся на цыпочки. Из этих эльгрековских дыды можно было бы собрать отличную баскетбольную команду. Их лики источают мужественную скорбь, как и лица многих профессиональных баскетболистов, которые мучаются собственным ростом. Даже мощная поперечина креста или стрелы, торчащие в теле Св. Себастьяна, призваны подчеркнуть преобладание вертикали.

В 1614 году, когда Эль Греко умер, Веласкесу исполнилось пятнадцать лет. В ходе диалога со своим предшественником Веласкес реабилитировал горизонталь. Из его персонажей получилась бы великолепная сборная борцов классического стиля. Любимцы Веласкеса — карлы. Мне могут возразить, что

карлы вошли в моду по милости двора. Они были при нем, а он, двор, задавал тон во всем. Могут сказать, что вертикаль оставалась реликтом средневековья и в новые времена, и что критянин Эль Греко вырос на византийской иконописи. Но я настаиваю, что у художников свой разговор. Веласкес козырнул карлами в игре с Эль Греко. На его портретах даже дети, принцы и инфанты, смахивают на карликов и карлиц. Даже у шутов среднего роста слоноподобные лица карлуш. Рядом с доном Антонио Эль Инглесом такая огромная собака, что дон кажется карликом. У Эль Греко поперечина креста раза в четыре короче продольного бруса. У Веласкеса — всего раза в полтора.

Этот разговор Эль Греко и Веласкеса о протяженности тела и его местоположении в пространстве подхватывает Гойя. Коты у него изображены крупным планом. На их фоне небо не так уж безбрежно. Одутловатые дети заполняют собой пространство сада, долины. Щекастый бутуз надувает не менее щекастый пузырь, и оба они теснят, вытесняют окружающий мир. Дровосеки и снова дети куда кряжистей дерева. Люди на ходулях только пародируют Эль Греко. В графическом цикле "Диспаратес" ("Вздор?") телесный гигантизм прет так нагло, что воздух трещит по швам.

Тело по вертикали, по горизонтали, тело и пространство — вот о чем беседуют Эль Греко, Веласкес и Гойя. Мне кажется, что парадигма "традиционализм-новаторство" лишена содержания. Куда реальней оппозиция "эпигонство — традиционализм". Эпигон без зазрения совести транжирит то, что накоплено, наработано. Традиционалист тоже хапает будь здоров, но возвращает сторицей.

В литературе одна из главных тем, которую писатели обсуждают сугубо между собой уже много столетий, — это тема степени и качества присутствия авторского "я" в книге. Но чтобы говорить на эту тему, надо выйти из Прадо и вломиться в ближайший бар. А я хочу еще раз вернуться в залы, где не смолкает немой разговор трех художников.

(“ТАНГО ЛИБРЕ” АСТОРА ПИАЦЦОЛЫ)

Вступление. Сегодня мы передаем третий и последний репортаж Геннадия Люстрина из цикла "Пиренейские впечатления". Тема репортажа — путешествие как способ познания себя. По телефону из Барселоны. Приступаю к тексту.

Голод одиночества.

Каталонский сепаратизм на руку заезжему чужеземцу. Каталонцы прикидываются чуть ли не французами, лишь бы не прослыть испанцами. Благодаря этому местное шампанское и коньяк почти не уступают французским. С бокалом каталонской "кавы" — так здесь называют шампанское — я стою на балконе, откуда видна вся Барселона, включая осколок моря. Поляки "кавой" называют кофе. Можно сойтись на компромиссе: шампанское — это белый кофе. Из-за хронической астмы Барселона из котлована тянется ввысь, карабкается на крыши. С моего балкона на ближних и дальних крышах видны фонтаны, темные аллеи, баскетбольные площадки. Если включить воображение, то можно услышать плеск, шепот, хрип.

За "кавой" я спустился в винную лавку и там вспомнил свое библиотечное детство. Как я просиживал каникулы в читалках. Как радостно вставал навстречу хмурым июльским утрам в курортном прибалтийском поселке, потому что мог честно дневать в местной избе-читальне. Она была сколочена из бревен, и запах леса будоражил корочки, корешки, обрезы. В своем городе я заворожено ходил по треугольнику: районная, городская и областная библиотека. Рыженькая библиотечарша Луиза из районной никак не выходила замуж, потому что мне было только девять лет. Маргарита Львовна из областной не бросала мужа по той же причине. В барселонской винной лавке я поймал себя на том же чувстве счастья. Винные бутылки можно читать. У них есть названия; есть год издания; они стоят на полках. Среди них есть любимые и никакие. Любимые можно снять с полки, почитать, унести с собой. По дороге трепетать, случайно касаясь любимой коленом. Все-таки несправедливо, что о книгах говорят "пожирать", а не "выпивать". Читать "запоем" куда слабей из-за плоского глагола. Вообще Бог языка более милостив к глаголам жевательным, чем к питейным. Съесть, сожрать кого-то с потрохами можно, а опорожнить, выпить кого-то до доньшка нельзя. А ведь так порой хочется. Поедать кого-то или себя поедом — всегда пожалуйста. А проглотить кого-то залпом — черта с два. Правда, позволено пить чью-то кровь, но разве это размах? Разве ее одним духом выпьешь? Когда человек голодает в силу обстоятельств или по собственной воле, то он себя подъедает, тихо живет старыми запасами. Бродя между винными лавками

Барселоны, я сочиняю, чтобы обжить, заселить свое одиночество. Снимая с полки увлекательную бутылку, я вижу веснушки Луизы и синий на янтарных пуговицах халат Маргариты Львовны. Неужели только я морю себя голодом одиночества, чтобы сочинять? Какая незавидная участь: стоять наедине с бокалом каталонского шампанского вровень с крышами Барселоны.

Барри, это все.

— Спасибо. Можешь катить назад в Сан Себастьян. Да, про дорогу и гостиницу я пошутил.

— В каком смысле?

— Не оплатим.

— Валлийская свинья!

(*"ТАНГО ЛИБРЕ" АСТОРА ПИАЦЦИОЛЫ*)



В барселонском музее Жюана Миро я почему-то выбрал эту репродукцию

КРАТЧАЙШИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

vino — /вино/ — вино

tinto — /тинто/ — красное

blanco — /бланко/ — белое

rosado — /росáдо/ — розовое
seco — /сéко/ — сухое
vaso — /вáсо/ — стакан
copa — /кóпа/ — бокал, рюмка
botella — /ботéлья/ — бутылка
rioja de crianza — /риоха де крианса/ — риоха, выдержанная в ду-
бовых бочках.
cava — /кáва/ — испанское шампанское
fresas — /фрécас/ — клубника
ostra — /óстра/ — устрица
bodega — /бодéга/ — погреб, винная лавка
cosecha — /косéча/ — урожай, сбор
año — /а́ньо/ — год
coñac — /ко́ньяк/ — бренди
La cuenta, por favor! — /ла куэ́нта, пор фавóр/ — счет, пожалуйста!

Не знаю почему, но уже в детстве я не любил поговорки "глуп как пробка". Мне пробка глупой не казалась. Она уме-ла плавать. Ее можно было грызть. Пробки я собирал, как свои молочные зубы и занозы. Мне нравились они на вкус, на глаз. В приключенческих романах я с завистью читал о пробковых шлемах колонизаторов и о пробковых поясах мореплавателей. И поныне я отношусь к пробкам с нежностью. Даже, бывает, тру их, грызу. Без них не было бы выдержанных вин. Еще уче-ник Аристотеля Теофраст упоминает пробки, которыми заку-поривали амфоры. Позднее эта культура была утрачена. В Тем-ные Века фляги с вином залепливали глиной или затыкали тря-пичной затычкой. Пробочный ренессанс начался лишь в начале XVIII в. от Р.Х. А спустя столетия появился и штопор, как реакция на пробку и бутылку. Ныне главные производители пробок Португалия, Франция, Италия и Алжир. Делают пробку из коры пробкового дуба. Это сложное и тонкое производство. В первый раз кору обдирают, когда пробковому дубу испол-няется двадцать пять лет. Причем делают это в июле-августе. Ободранную кору сгребают в кучи и дают ей отлежаться не-сколько месяцев, прежде чем пустить в дело. Во второй раз де-рево обдирают спустя девять лет, когда ему уже хорошо за тридцать. Средний возраст жизни пробкового дуба сто шесть-десят пять лет. Пробки высшего сорта изготавливаются из коры третьей, четвертой и пятой обдирки. Особенно трудоемок про-

цесс производства фигурных пробок для шампанского.

Качества вина находятся в прямой зависимости от пробки. Вина должно хранить в прохладном темном месте. Идеальные виноубежища — погреба. В погребе вино дышится прохладно, свет не режет ему глаза. Вино, как ребенок, любит играть в прятки, в "замри". Оно любит тихо-мирно лежать на полке. Почему лежать? Чтобы пробка, не дай бог, не усохла и не пропустила воздуха.

(МУЗЫКА ИЗ ОПЕРЫ К. ДЕБЮССИ "ВАКХ")

ПОСЛАНИЕ К СЕБЕ В ЛОНДИНИУМ

Даже греческий раб
получал ежедневно шестьсот граммов
деревенского вина вторичной выжимки.
Чем отличалось оно от вина первичной выжимки?
И чем отличалось деревенское от марочного
хиосского,
а оба они от итальянского фалернского?
Как бы то ни было,
если тебя затолкнут в машину времени
и запульнут в ячейку раба в 4 в. до Р.Х.,
дела твои будут не так уж плохи.
И даже если машина транспортирует тебя
в рабство к кельтам,
то они, может статься, отдадут тебя римлянам
за амфору вина,
и тогда снова все будет в порядке.
Или другие сведения,
почерпнутые из рассказов нянек-рабынь,
на которых бросали тебя родители,
отправляясь на сатурналии в Дом офицеров:
улицы древних городов
освещались только по праздникам,
в будние же ночи горожанин освещал себе путь
фонарем или факелом.

Дорогой папа!

Вот разгадки на твои загадки.

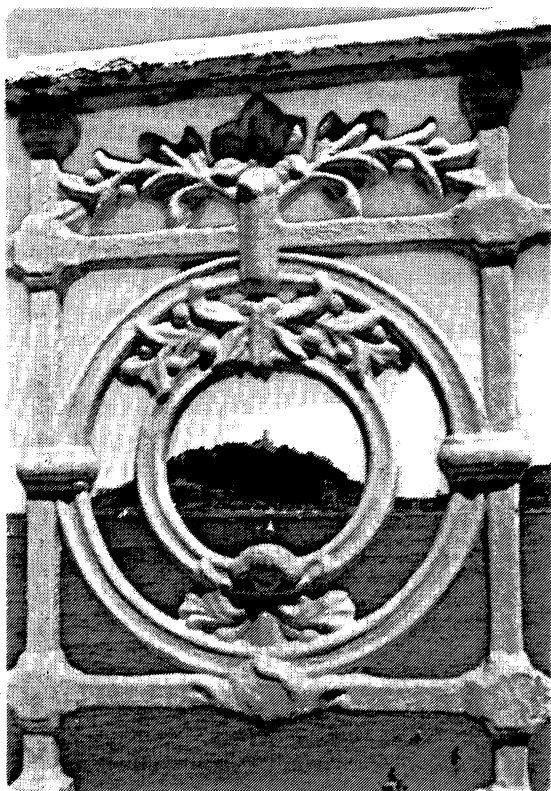
1. Повесть "Баскская собака" никто не написал. Это твоя практическая шутка. Ты провоцировал меня на сэра Артура Конан-Дойля!
2. Американский хандболл и кепку "берет" придумали баски.
3. Испанских военных обожают убивать баски.

Да, спасибо тебе за ангела-охранника. Мы с ним подружились.

Павел

P.S. Я овладел ножом и теперь пользуюсь им вместо пальца.

*Традиционная баскская концевка:
если жили праведно, то и умерли праведно.*



*Традиционная русская концевка:
стали жить-поживать да добра наживать, да лихо избывать.*

СВОБОДУ ПУШКИНУ!

Татьяна Толстая

СЮЖЕТ

И долго буду тем любезен я народу...
Пушкин

Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
Блок

Допустим, в тот самый момент, когда белый указательный палец Дантеса уже лежит на спусковом крючке, некая рядовая, непоэтическая птичка Божия, спугнутая с еловых веток возней и топтанием в голубоватом снегу, какает на длань злодея. Кляк!

Рука, естественно, дергается произвольно; выстрел, Пушкин падает. Какая боль! Сквозь туман, застилающий глаза, он целится, стреляет в ответ; падает и Дантес; "славный выстрел!" — смеется поэт. Секунданты увозят его, полубессознательного; в бреду он все бормочет, все словно хочет что-то спросить.

Слухи о дуэли разносятся быстро: Дантес убит, Пушкин ранен в грудь. Наталья Николаевна в истерике, Николай в ярости; русское общество быстро разделяется на партию убитого

и партию раненого; есть чем скрасить зиму, о чем поболтать между мазуркой и полькой. Дамы с вызовом вплетают траурные ленточки в кружева. Барышни любопытствуют и воображают звездообразную рану; впрочем, слово "грудь" кажется им неприличным. Меж тем, Пушкин в забытьи, Пушкин в жару, мечется и бредит; Даль все таскает и таскает в дом моченую морошку, сиюсья пропихнуть горьковатые ягодки сквозь стиснутые зубы страдальца, Василий Андреевич вывешивает скорбные листы на дверь, для собравшейся и не расходящейся толпы; легкое прострелено, кость гноится, запах ужасен (карболка, сулема, спирт, эфир, прижигание, кровопускание?), боль невыносима, и старые друзья-доброхоты, ветераны двенадцатого года, рассказывают, что это как огонь и непрекращающаяся пальба в теле, как разрывы тысячи ядер, и советуют пить пунш и еще раз пунш: отвлекает.

Пушкину грезятся огни, стрельба, крики, Полтавский бой, ущелья Кавказа, поросшие мелким и жестким кустарником, один в вышине, топот медных копыт, карла в красном колпаке, грибоедовская телега, ему мерещится прохлада пятигорских журчащих вод — кто-то положил остужающую руку на горячий лоб — Даль? — Даль. Даль заволакивает дымом, кто-то падает, подстреленный, на лужайке, среди кавказских кустиков, мушмулы и каперсов; это он сам, убит, — к чему теперь рыданья, пустых похвал ненужный хор? — шотландская луна льет печальный свет на печальные поляны, поросшие развесистой клюквой и могучей, до небес, морошкой; прекрасная калмычка, неистово, туберкулезно кашляя, — тварь дрожащая или право имеет? — переламывает над его головой зеленую палочку — гражданская казнь; что ты шьешь, калмычка? — Портка. — Кому? — Себя. Еще ты дремлешь, друг прелестный? Не спи, вставай, кудрявая? Бессмысленный и беспощадный мужичок, наклонившись, что-то делает с железом, и свеча, при которой Пушкин, трепеща и проклиная, с отвращением читает полную обмана жизнь свою, колеблется на ветру. Собаки рвут младенца, и мальчики кровавые в глазах. Расстрелять, — тихо и убежденно говорит он, — ибо я перестал слышать музыку, румынский оркестр и песни Грузии печальной, и мне на плечи кидается анчар, но не волк я по крови своей: и в горло я успел воткнуть и там два раза повернуть. Встал, жену убил, сонных зарубил своих малюток. Гул затих, я вышел на подмости,

я вышел рано, до звезды, был, да весь вышел, из дому вышел человек с дубинкой и мешком. Пушкин выходит из дома босиком, под мышкой сапоги, в сапогах дневники. Так души смотрят с высоты на ими сброшенное тело. Дневник писателя. Записки сумасшедшего. Записки из Мертвого дома. Ученые записки Географического общества. Я синим пламенем пройду в душе народа, я красным пламенем пройду по городам. Рыбки плавают в кармане, впереди неясен путь. Что ты там строишь, кому? Это, барин, дом казенный, Александровский централ. И музыка, музыка, музыка вплетается в пенье мое. И назовет меня всяк сущий в ней язык. Еду ли ночью по улице темной, то в кибитке, то в карете, то в вагоне из-под устриц, *ich sterbe*, — не тот это город, и полночь не та. Много разбойники пролили крови честных христиан! Конь, голубчик, послушай меня... Р, О, С, — нет, я букв не различаю... И понял вдруг, что я в аду.

”Битая посуда два века живет!” — крихтит Василий Андреевич, помогая тащить измятые простыни из-под выздоравливающего. Все норовит сделать сам, суетится, путается у слуг под ногами, — любит. ”А вот бульончику!” Черта ли в нем, в бульончике, но вот хлопоты о царской милости, но вот всемилоштивейшее прощение за недозволенный поединок, но интриги, лукавство, притворные придворные вздохи, всеподданнейшие записки и бесконечная езда взад-вперед на извозчике, ”а доложи-ка, братец...” Мастер!

Василий Андреевич сияет: выхлопотал-таки победившему ученику ссылку в Михайловское — только лишь, только лишь! Сосновый воздух, просторы, недалние прогулки, а подзаживет простреленная грудь — и в речке поплавать можно! И — ”молчи, молчи, голубчик, доктора тебе разговаривать не велят, все потом! Все путем. Все образуется.”

Конечно, конечно же, вой волков и бой часов, долгие зимние вечера при свече, слезливая скука Натальи Николаевны, — сначала испуганные вопли у одра болящего, потом уныние, попреки, нытье, слоняние из комнаты в комнату, зевота, битье детей и прислуги, капризы, истерики, утрата рюмочной талии, первая седина в нечесанной пряди, и какво же, господа, поуту, отхаркивая и сплевывая набегающую мокроту, глядеть в окно, как по свежевывавшему снегу друг милый в обрезанных валенках, с хворостиной в руке, гоняется за козой, объедавшей сухие стебли засохших цветов, торчащие там и сям с прошлого

лета! Синие дохлые мухи валяются между стекол — велеть убрать.

Денег нет. Дети — балбесы. Когда дороги нам исправят?.. — Никогда. Держу пари на десять погребов шампанского "брют" — ни-ко-гда. И не жди, не будет. "Пушкин исписался", — щебечут дамы, старея и оплывая. Впрочем, новые литераторы, кажется, тоже имеют своеобразные взгляды на словесность — невыносимо прикладные. Меланхолический поручик Лермонтов подавал кое-какие надежды, но погиб в глупой драке. Молодой Тютчев неплох, хоть и холодноват. Кто еще пишет стихи? Никто. Пишет возмутительные стихи Пушкин, но не наводняет ими Россию, а жжет на свечке, ибо надзор, господа, круглосуточный. Еще он пишет прозу, которую никто не хочет читать, ибо она суха и точна, а эпоха требует жалостливости и вульгарности (думал, что этому слову вряд ли быть у нас в чести, а вот ошибся, да как ошибся!), и вот уже кровохаркающий невротик Виссарион и безобразный виршеплет Некрасов, — так, кажется? — наперегонки несутся по утренним улицам к припадочному разночинцу (слово-то какое!): "Да вы понимаете ль сами-то, что вы такое написали?" ...А впрочем, все это смутно и суетно, и едва проходит по краю сознания. Да, вернулись из глубины сибирских руд, из цепей и оков старинные знакомцы: не узнать, и не в белых бородах дело, а в разговорах: неясных, как из-под воды, как если бы утопленники, в зеленых водорослях, стучались под окном и у ворот. Да, освободили крестьянина, и теперь он, проходя мимо, смотрит нагло и намекает на что-то разбойное. Молодежь ужасна и оскорбительна: "Сапоги выше Пушкина!" — "Дельно!". Девицы отрезали волосы, ходят на дворовых мальчишек и толкуют о правах: *mon Dieu!* Гоголь умер, предварительно спятив. Граф Толстой напечатал отличные рассказы, но на письмо не ответил. Щенок! Память слабеет... Надзор давно снят, но ехать никуда не хочется. По утрам мучает надсадный кашель. Денег все нет. И надо, крихтя, заканчивать наконец, — сколько же можно тянуть — историю Пугачева, труд, облюбованный еще в незапамятные годы, но все не отпускающий, все тянущий к себе — открывают запретные прежде архивы, и там, в архивах, завораживающая новизна, словно не прошлое приоткрылось, а будущее, что-то смутно брезжившее и проступавшее неясными контурами в горячем мозгу, — тогда еще, давно, когда лежал, простреленный

навылет этим, как бишь его? — забыл; из-за чего? — забыл. Как будто неопределенность приотворилась в темноте.

Старый, уже старчески неопрятный, со слезящимися глазами, с трясущейся головой, маленький и кривоногий, белый, как вата, но все еще густоволосый и курчавый, припадающий на клюку, собирается Пушкин в дорогу. На Волгу. Обещал один любитель старины показать кое-какие документы, имеющие касательство к разбойнику. Дневники. Письмо. Но только из рук: очень ценные. Занятно, должно быть. "Куда собрался, дурачина", — ворчит Наталья Николаевна. — "Сидел бы дома". Не понимает драгоценность трудов исторических. Не спорить с ней, — это бесполезно, а делать свое дело, как тогда, когда стрелялся с этим... как его?... черт. Забыл.

Зима. Метель.

Маленький приволжский городок занесен снегом, ноги скользят, поземка посвистывает, а сверху еще валит и валит. Тяжело волочить ноги. Вот... приехал... Зачем? В сущности (как теперь принято выражаться), — зачем? Жизнь прошла. Все понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Нашел ли? Нет. И теперь уже вряд ли. Времени не остается. Как оно летит... Давно ли писал: "Выстрел"?.. Давно ли: "Метель"?.. "Гробовщик"?.. Кто это помнит теперь, кто читает старика? Скоро восемьдесят. Мастоdont. Молодые кричат: "К топору!", молодые требуют действия. Жалкие! Как будто действие может что-то переменить?.. Вернуть?.. Остановить?.. И старичок, бредущий в приволжских сумерках, приостанавливается, вглядывается в мрак прошлый и мрак грядущий, и вздымается стиснутая предчувствием близкого конца надсаженная грудь, и наворачиваются слезы, и что-то всколыхнулось, вспомнилось... ножка, головка, убор, тенистые аллеи... и этот, как его...

Бабах! Скверный мальчишка со всего размаху всаживает снежок-ледышку в старческий затылок. Какая боль! Сквозь туман, застилающий глаза, старик, изумленно и в гневе обернувшись, едва различает прищуренные калмыцкие глазенки, хохочущий щербатый рот, соплю, прихваченную морозцем. "Обезьяна!" — радостно вопит мальчонка, приплясывая. — "Смотрите, обезьяна! Старая обезьяна!"

Вспомнил, как звали! Дантес! Мерзавец! Скотина... Сознание двойится, но рука еще крепка! И Пушкин, вскипая в по-

следний, предсмертный раз, развернувшись в ударе, бьет, лупит клюкой — наотмашь, по маленькой рыжеватой головке негодяя, по нагловатым глазенкам, по оттопыренным ушам, — по чему попало. Вот тебе, вот тебе! За обезьяну, за лицей, за Ванечку Пушкина, за Сенатскую площадь, за Анну Петровну Керн, за вертоград моей сестры, за сожженные стихи, за свет очей моих — Карамзину, за Черную речку, за все! Вурдалак! За Санкт-Петербург!!! За все, чему нельзя помочь!!!

”Володя, Володя!” — обеспокоенно кричат из-за забора. ”Безобразие какое!” — опасливо возмущаются собирающиеся прохожие. ”Правильно, учить надо этих хулиганов!.. Как можно, — ребенка... Урядника позовите... Господа, разойдитесь!.. Толпиться не дозволяется!” Но Пушкин уже ничего не слышит, и кровь густеет на снегу, и тенистые аллеи смыкаются над его черным лицом и белой головой.

Соседи какое-то время судачат о том, что сынка Ульяновых заезжий арап отлупил палкой по голове, — либералы возмущены, но указывают, что скоро придет настоящий день, и что всего темней перед восходом солнца, консервативные же господа злорадничают: давно пора, на всю Россию разбойник рос. Впрочем, мальчонка, провалявшись недельку в постели, приходит в себя и, помимо синяков, видимых повреждений на нем не заметно, а в чем-то битье вроде бы идет и на пользу. Так же картавит (Мария-то Александровна втайне надеялась, что это исправится, как бывает с заиканием, но — нет, не исправилось), так же отрывает ноги игрушечным лошадам (правда, стал большой аккуратист и, оторвав, после непременно приклеит на прежнее место), так же прилежен в учении (из латыни — пять, из алгебры — пять), и даже нравом вроде бы стал поспокойнее: если раньше нет-нет да и разобьет хрустальную вазу или стащит мясной пирог, чтобы съесть в шалаше с прачкиными детьми, а то, бывало, и соврет — а глазенки ясные-ясные! — то теперь не то. Скажем, соберется Мария Александровна в Казань к сестре, а Илья Николаевич в дальнем уезде с инспекцией — на кого детей оставить? Раньше, бывало, кухарка предлагает: я, мол, тут без вас управлюсь, — а Володенька и рад. Теперь же выступит вперед, ножкой топнет, и звонко так: ”Не бывать этому никогда!” И разумно так все разберет, рассудит и представит, почему кухарка управлять не может. Одно удовольствие слушать.

С дворовыми ребятами совсем перестал водиться. Носик воротит: дескать, вши с них на дворянина переползти могут. (Прежде живность любил: наловит вшей в коробочку, а то блох или клопов, и наблюдает. Закономерность, говорит, хочю выявить. Должна непременно быть закономерность.) Теперь, если где грязцу увидит — сразу личико такое брезгливое делается. И руки стал чаще мыть. Как-то шли мимо нищие на богомолье, остановились, как водится, загнусавили — милостыню просят. Володенька на крыльцо вышел, ручкой эдак надменно махнул: "Всяк сверчок знай свой шесток!" — высказался. "Проходите!.. Ходоки нашлись..." Те рты закрыли, котомки подхватили, и давай Бог ноги...

А как-то раз старшие, шутки ради, затеяли домашний журнал, и название придумали вроде как прогрессивное, с подковыркой: "Искра". Смеху!.. Передовую потешную составили, международный отдел — "из-за границы пишут...", ну, и юмор, конечно. Намеки допустили... Володенька дознался, пришел в детскую такой важный, серьезный, и ну сразу: "А властями дозволено? А нет ли противуречия порядку в Отечестве? А не усматривается ли самоволие?" И тоже вроде в шутку, а в голошишке-то металл...

Мария Александровна не нарадуется на средненького. Поверяет дневнику тайные свои материнские радости и огорчения: Сашенька тревожит, — буйн, младшие туповаты, зато Володенька, рыженький, — отрада и опора. А когда случилась беда с Сашенькой — дерзнул преступить закон и связался с социалистами, занес руку — на кого? — страшно вымолвить, но ведь и материнское сердце не камень, ведь поймите, господа, ведь мать же, мать! — кто помог, поддержал, утешил в страшную минуту, как не Володенька? "Мы пойдем другим путем, маменька!" — твердо так заявил. И точно: еще больше приналег на учење, баловства со всякими там идеями не допускал ни на минуточку, да и других одергивал, а если замечал в товарищах наималейшие шатания и нетвердость в верности царю и Отечеству, то сам, надев фуражечку на редующие волоски, отправлялся и докладывал куда следует.

Илья Николаевич помер. Перебрались в столицу. Жили небогато. Володечка покуривать начал. Мария Александровна заикнулась было: Володя, ведь это здоровье губить, да и деньги?.. — Володечка как заорет: "Ма-алча-ать! Не сметь рассуждать!!!"

— даже напугал. И с тех пор курил только дорогие сигары: в пикку матери. Робела, помалкивала. Ликеры тоже любил дорогие, французские. На женщин стал заглядываться. По субботам к мадамкам ездил. Записочку шутовскую оставит: "ушел в подполье", возвращается навеселе. Мать страшилась, все-таки докторова дочка, — "Вовочка, ты там поосторожнее, я все понимаю, ну а вдруг люэз?.. Носик провалится!" — "Не тревожьтесь, маман, есть такое архинадежное французское изобретение — гондон!" Любил Оффенбаха оперетки слушать: "нечеловеческая музыка, понимаете ли вы это, мамахен? Из театра на лихаче едешь — так и хочется извозчика, скотину, побить по головке: зачем музыки не понимает?"

Квартиру завел хорошую. Обставил мебелью модной, плюшевой, с помпончиками. Позвал дворника с рабочим гардины вешать — те, ясно, наследили, напачкали. С тех пор рабочих и вообще простых людей очень не любил; "Фу, — говорил, — проветривай после них". И табакерки хватился. Лазил под оттоманку, все табакерку искал, ругался: "Скоты пролетарские... Расстрелять их мало..."

В хорошие, откровенные минуты мечтал, как сделает государственную карьеру. Закончит юридический — и служить, служить. Прищурится — и в зеркало на себя любит: "Как думаете, маменька, до действительного тайного дослужусь?.. А может, лучше было по военной части?.." Из елочной бумаги эпюлеты вырежет и примеряет. Из пивных пробок ордена себе делал, к груди прикладывал.

Карьеру, шельмец, и правда, сделал отличную, да и быстро: знал, с кем водить знакомства, где проявить говорливость, где промолчать. Умел потрафить, с начальством не спорил. С молодежью, ровесниками водился мало, все больше с важными стариками, а особенно с важными старухами. И веер подает, и моську погладит, и чепчик расхвалит: с каким, дескать, вкусом кружевца подобраны, очень, очень к лицу! Дружил с самим Катковым, и тоже знал, как подойти: вздохнет, и как бы невзначай в сторону: "какая глыба, батенька! какой матерый человечище!", — а тому и лестно.

Были и странности, не без того. Купил дачу в Финляндии, нет чтобы воздухом дышать да в заливе дрызгаться — ездил без толку туда-сюда, туда-сюда, а то на паровоз просился: дайте прокатиться. Что ж, хозяин — барин, платит, — пускали. До Фин-

ляндского доедет, побродит по площади, задумывается... Потом назад. Во время японской войны все на военных любовался, жалел, что штатский. Раз, когда войска шли, смотрел, смотрел, не выдержал, махнул командиру: "ваше превосходительство, не разрешите ли патриоту на броневичок взобраться? Очень в груди ноет". Тот видит — господин приличный, золотые очки, бобровый воротник, отчего не пустить? — пустил. Владимира Ильича посадили, он сияет... "Ребята! Воины русские! За веру, царя и Отечество — ура!" — "Ура-а-а-а!..." Даже в газетах пропечатали: такой курьез, право!

Еще чудил: любил на балконах стоять. Ухаживал за балеринами — ну, это понятно, кто ж не ухаживал, — напросится в гости и непременно просит: "прэлэсть моя, чудное дитя, пусти-те на балкончик!" Даже зимой, в одной жилетке. Выйдет — и стоит, смотрит вокруг, смотрит... Вздохнет и назад вернется. "Что вы, Владимир Ильич?" Затуманится, отвечает нехотя, не-впопад: "Народу мало..." А народу — как обычно.

Патриот был необыкновенный, истовый. Когда мы войну с немцем выиграли — в 1918-м, он тогда уже был Министром Внутренних Дел, — кто, как не он, верноподданнейше просил по поводу столь чаемой и достославной победы дать салют из трехсот залпов в честь Его Величества, еще столько же в честь Ее Величества, еще полстолька в честь Наследника Цесаревича и по сту штук обожаемым Цесаревнам? Даже Николай Александрович изволили смеяться и крутить головой: эк хватили, ба-тенька, у нас и пороху столько не наскребется, весь вышел... Тогда Владимир Ильич предложил примерно наказать всех ино-родцев, чтобы крепко подумали и помнили, что такое Россий-ская Империя и что такое какие-то там они. Но и этот проект не прошел, разве что отчасти, в южных губерниях. Предлагал он — году уже в двадцатом—двадцать втором — перегородить все реки заборами, и уже представил докладную записку на высочайшее имя, но так и не сумел толком объяснить, зачем это. Тут и заметили, что господин Ульянов заговаривается и забывается. Стал себя звать Николаем, — патриотично, но не-верно. Цесаревичу Наследнику подарил на именины серсо с палочкой и довоенную игру "диаболо", — подкидывать катуш-ку на веревочке, словно забыв, что Цесаревич — молодой чело-век, а не малое дитя, и уже был сговор с невестой. (Впрочем, Цесаревич его очень любили и звали "дедушкой Ильичом").

Черногорским принцессам козу пальцами строил! И при болгарском царе Борисе кричал: "Бориску на царство!", оконфузив и Его Величество, и присутствующих. Прощали: знали, что дедуля хоть и дурной, но направления самого честного.

Читать не любил, и писак не жаловал, а сам пописывал, но только докладные. В Зимнем любили, когда он, бывало, попросит аудиенции и стоит навтытяжку у дверей кабинета, дожидается вызова, — портфель под мышкой, бородка одеколоном благоухает, глазки хитро так прищурены. "Опять наш Ильич прожекты принес! Ну, показывай, что у тебя там?" Смеялись, но по-доброму. А он все не за свое дело брался. То столицу предложит в Москву перенести, то распишет "Как нам реорганизовать Сенат и Синод", а то и вовсе мелочами занимается. Где предложит ручей перекопать, где ротонду срыть. А особо норовил переустроить Смольный Институт: либо всю мебель зачехлить в белое, либо перекроить коридоры. Тамошних благородных девиц навещать любил и некоторым, особенно лупоглазым, покровительствовал: конфет сунет или халвы в бумажке. Звал их всех почему-то Надьками.

Когда же Его Величество Николай Александрович почили в Бозе, Владимира Ильича хватил удар. Отнялась вся правая половина, и речь пропала. Не пришлось идти и в отставку. Графиня N, всегда к нему благоволившая, отвезла его в свое имение в Горках, где его держали целый день в саду в гамаке, под елкой. Кормили спаржей, клубникой, шоколадом. Давали кота погладить. Раз пришли — а он уже умер.

Придворный доктор, лейб-медик Боткин из научного любопытства испросил дозволения вскрыть покойнику череп. Молодой царь плакали, но дозволили. Мозг с одной стороны оказался хорошего, мышиноного цвета, а с другой — где срап ударил, — вообще ничего не было. Чисто.

Сейчас ждем, когда нового Министра Внутренних Дел назначат. Говорят, бумаги уже подписаны. Господин Джугашвили, кажется, фамилия.



Июнь 1937, СПб.

Е.Шальман

А ВСЕ-ТАКИ ЭТО ПУШКИН!..

(ответ А.Чернову*)

Сначала воспоминание семилетней давности. В номере "Комсомольской правды" от 5 января 1984 г. была опубликована статья с грифом "Гипотезы" — "Портрет декабриста?", подзаголовок — "Молодой исследователь "расшифровывает" пушкинский рисунок". Подпись: Андрей Чернов.

Автор рассказывает, как в рукописи "Цыган" он обратил внимание на профильный портрет старика, рисунок Пушкина. Рукопись "Цыган" датируется декабрем 1823 — январем 1824 г., и тогда же исполнен пушкинский рисунок. Было это в Одессе. А в конце октября 1824 г., в Михайловском, поэт получил письмо Сергея Григорьевича Волконского, декабриста, о предстоящей женитьбе на Марии Раевской.

Чернов сравнивает портрет Волконского с изображением старика на пушкинском рисунке и, как он считает, устанавливает тождество изображений. Вывод такой: получив известие о предстоящей свадьбе князя, Пушкин, влюбленный в Марию Раевскую (в этом Чернов не сомневается), мучимый ревностью, создает портрет ее жениха, представив его старым, злым, несимпатичным. Комментарий Чернова: "И вдруг — ведь Маша Раевская, в которую он был (и не безответно!) влюблен, выйдет замуж за Волконского!"

* См. "Синтаксис" № 30

”Эк, куды метнуло!” — как сказал городничий.

Дадим и наш скромный комментарий. Рисунок создан в декабре 1823 — январе 1824 г., а письмо Волконского получено Пушкиным в конце октября 1824 г. Выходит, что Пушкин, предвидя почти за год получение огорчительного письма, в приступе ревности карикатурно изображает счастливого соперника. И — посмотрим на рисунок, сравним с напечатанным в том же номере газеты портретом Волконского. Нет между ними ничего общего, и Чернов обнаруживает, таким образом, обыкновенную художественную слепоту.

Прочитав такое, я сказал себе: этому человеку важна не истина, не искусство, не Пушкин. Ему нужно ”сделать открытие” — и все!

С таким, каюсь, недобрим чувством я приступил к чтению исследования Чернова о балладе ”Тень Баркова”.

Основная идея этого труда — опровержение авторства Пушкина в создании баллады ”Тень Баркова” и, соответственно, опровержение мнений писавших на эту тему ранее. Мнения эти Чернов подвергает большому сомнению, пользуясь методом, который можно назвать следственно-уголовным.

Вот Чернов сообщает, что первым напечатал пятьдесят три стиха из ”Тени Баркова” В.П. Гаевский в 1863 г. И здесь же пишет, что Гаевский ”странным образом забывает отметить, кто именно — Яковлев или Корф поведал ему о ”Тени Баркова”. Намекает этим Чернов, что Гаевский не совсем честный человек (с. 139 журнала ”Синтаксис”, далее в скобках указываются страницы журнала).

Или пишет Чернов о П.Е. Щеголеве: ”весьма осторожно он все же склонялся к тому, что балладу написал Пушкин” (с. 141). А Щеголев, заметим, вовсе и не ”осторожно”, а просто считал, что баллада сочинена Пушкиным.

На главный удар Чернов наносил по М.А. Цявловскому, который установил текст ”Тени Баркова” и написал к нему комментарий, составивший целую книгу. Крепко достается Цявловскому. Так, комментируя Цявловского в том месте его труда, где говорится об ”ошеломляюще чрезмерном” количестве похабных слов в балладе ”Тень Баркова”, Чернов дает волю своему остроумию: ”Оказывается, что большинство из них (нецензурных слов) Пушкин не только знал, но и употреблял в стихах и эпистолярной прозе” (с. 144). Далее — еще об-

разец иронии Чернова: "Тут на много страниц следуют выписки, с блеском и научной скрупулезностью подтверждающие этот факт" (с. 141).

А к чему все это делает Цявловский? Чернов отвечает: "И это скорее выглядит как некая невольная подтасовка, ибо другого случая мата ради мата, а тем более ради воспламеняющей похабности у поэта мы не находим". (с. 144). Вот, оказывается, в чем дело. Похабник Цявловский воспользовался случаем, чтобы, приписав Пушкину многосквернословие, самому получить большое удовольствие от напечатания баллады.

Чтобы подкрепить свое мнение, Чернов приводит слова специалиста по древнерусской литературе А.М.Панченко о "Тени Баркова". Тот, когда "в курилке Пушкинского дома", "зашла речь о "Тени Баркова", "скривился": "Это не Пушкин, это хам писал". Вот, оказывается, где разрешаются научные проблемы в Пушкинском доме...

Кстати о хамстве. Вот еще цитата из работы Чернова. "Заметил ли читатель, что все списки баллады Цявловский датирует или серединой 19 в. или даже более поздним временем?" Смотрите, говорит Чернов, как подтасовывает Цявловский. Далее Чернов заявляет, что сличение списков "показывает, что один из столпов пушкиноведения оказался просто-напросто беспомощным дилетантом, реконструируя текст негения" (с. 146)... "...и последовательно стал заниматься подгонкой под требуемый ответ, эдакой разновидностью текстологической мастурбации" (с. 146).

Нашему пушкинисту не откажешь не только в хамстве, но и в лихости. На протяжении всего его сочинения проводится мысль о создании "Тени Баркова" неким похотливым старичком, а отсюда — намек (более чем намек!) на то, что Цявловский лично заинтересован в создании текста "Тени Баркова" из-за собственных чувственных устремлений. Как здесь не вспомнить рисунок в рукописи "Цыган", определенный Черновым как портрет С.Г.Волконского в старости!

Поскольку о "похотливом старичке" в статье упоминается неоднократно, имея в виду, что некоторые читатели этого труда могут быть введены в заблуждение относительно личности М.А.Цявловского, скажем здесь несколько слов. В.В.Вересаев в своем рассказе о Цявловском ("Служитель божества") называет ученого "чернобровым красавцем". В воспомина-

ниях И.Л. Фейнберга читаем: "На него нельзя было не обратить внимание. Я помню, не раз извозчик — а тогда еще по Москве ездили извозчики, когда вез Мстислава Александровича, спрашивал: "А они будут профессор чего?" Самый факт не вызывал сомнения, требовалось только уточнение... Он был очень красивый человек — и внешне красивый. Когда он выступал, то все восхищались — и уже вскоре в него влюблялись, испытывая к нему величайшее доверие" (Илья Фейнберг. Читая тетради Пушкина. М., "Советский писатель" 1985, с. 659).

В 1930 г., когда Цявловский работал над "Тенью Баркова", ему было 47 лет, он был женат на Татьяне Григорьевне Зенгер, женщине выдающегося таланта и красоты.

Возвратимся к Чернову. Суровый критик на нескольких страницах подвергает критике работу Цявловского. Разумеется, и здесь не обходится без грубости ("Цявловскому нужен именно такой вариант...", с. 148). Замечания такого рода не единичны. Уличает Чернов Цявловского и в элементарной филологической безграмотности. Вот заходит речь о стихе 113 баллады. С чувством иронизирует Чернов: "Под милой жопой красоты..." "Хороша инверсия?" (с. 149). Здесь разоблачению Цявловского уделена почти целая страница: "Очевидно, чувствуя столь непущинскую руку, Цявловский не решается продемонстрировать неинверсионный, подлинный вариант: инверсия и явная порча стиха спасают от разоблачения" (с. 149).

Да, не повезло Цявловскому — не удастся ему избежать разоблачения и справедливого возмездия, коль скоро за дело взялся Чернов!

Внесем, однако, некоторую ясность. Дело в том, что нет здесь никакой инверсии, инверсионного ряда и тому подобных филологических сложностей, которыми эрудированный Чернов убивает читателей. А что же здесь есть? Очень просто: Чернову неизвестно употребление слова "красота" у Пушкина. А зря. Оказывается, Цявловский об этом позаботился на странице 84 его книги о "Тени Баркова", которую штудировал Чернов. Цявловский объясняет стих "Под милой жопой красоты", приводя примеры употребления слова "красота" в значении "красавица": А если Чернов не верит Цявловскому, то, быть может, поверит "Словарю языка Пушкина", где слово "красота" зафиксировано 35 раз!

Еще две страницы, где автор сопоставляет (неубедитель-

но) "Тень Баркова" с "Вадимом" Жуковского и даже — с "Медным всадником". Чернов берет место "Тени Баркова", где описывается увядший орган героя баллады — "Вздывается лениво... Он снова пал и не встает, смутился горделиво..." И Чернов находит сопоставление с "Медным всадником":

Прошло сто лет, и юный град
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво...
(с. 159-160).

Чернов продолжает:

"Вот в чем дело! Вновь певец эрекции увидел свою лебединую тему (!). В его мозгу любое невинное действие, любое слово перетолковывается в угоду все тому же: в данном случае жертвой оказался сам Петербург... А не возносись! Да еще "горделиво" и "пышно"..." (с. 160).

И, наконец, Чернов подводит нас к итоговому выводу:

"Стихотворения, подобные "Тени Баркова", несут эротическое содержание для иного возраста и иного читателя. И действие "воспалительного состава" может оказаться столь сильным, что и умудренный пушкиновед забудет азы собственной профессии" (с. 160-161).

И здесь Чернов расцветает: "Нашел!" И.Л.Фейнберг, проникновенные воспоминания которого об учителе приводились выше, на беду М.А.Цявловского записал в дневнике его замечание о глухонемых наборщиках типографии, муже и жене, в которой печаталась "Тень Баркова". "Что они делали, начитавшись поэмы, — сказал Цявловский, — не знаю!" Конечно, Цявловский сделал это замечание в шутку, иначе оно и не может быть истолковано. Ничего нет дурного в том, что И.Л.Фейнберг эти слова записал. Но вот стоило ли М.Фейнберг, найдя в архиве эту запись, публиковать ее, — большой вопрос. Ведь можно истолковать ее так, что получится мерзость!

Как же реагирует на эту запись Чернов? — "Весьма красноречивое признание" (с. 161). И — пошел, и — пошел! "Интерес к подобного рода сочинениям возникает в тоталитарные периоды общественного быта"! (с. 161). Тут и Оруэлл вспоминает Чернов, и прогрессивность свою можно показать.

Кто же все-таки, по Чернову, написал "Тень Баркова"? Все очень просто: "Медный всадник" обозначает нижнюю хронологическую границу вещи (1833 г.), а смерть Хвостова, упоминаемого в балладе, 1835 — ее верхняя граница. "Тень Баркова" сочинена скорее всего, пишет Чернов, в 1834 г. Создателем "Тени Баркова" является Александр Федорович Воейков, журналист и автор сатиры на современных литераторов "Дом сумасшедших". Но почему же все-таки из сонма русских поэтов Чернов выбрал его для авторства "Тени Баркова"? И это понятно. "Тень Баркова" местами содержит реминисценции знаменитой баллады Жуковского "Светлана". Балладу Жуковский посвятил Александре Андреевне Протасовой накануне ее свадьбы с Воейковым. Жизнь Протасовой (Светланы) была тяжелой, и этот брак закончился ее ранней смертью. Воейков и есть автор "Тени Баркова".

Мы начали с открытия писателем-фантастом Черновым персонажа рисунка Пушкина в рукописи "Цыган". Читатель, разумеется, помнит об этом. Подстать этому открытию и другое — автора "Тени Баркова" в 1991 г.

Как всегда, Чернов остается верен себе.

Новая эпоха русской жизни, когда мысль стремительно освобождается как от цензуры властей, так и (что важнее) от цензуры внутренней, отразилось и в историко-литературной проблеме — барковщине. Новые веяния сказываются и на трактовке понятий эротического и порнографического в искусстве, и даже возможности применения в литературных произведениях крепких слов и выражений. А что последнее есть явление специфически русское, всем известно.

Так, нежданно-негаданно на авансцену вышел Барков. Как некогда он в "Оде Приапу" сказал о своем герое,

Оставя в тартаре свой труд,
И гарпии и евмениды,
И демонов престрашны виды,
Все взапуски ко мне бегут, —

так и сейчас поэты и писатели обратили взоры к знаменитому похабнику. Оправдывается предвидение Пушкина (черновик "Послания цензору", 1822):

Хукосу не давайце и
не чытайце
Дарова Дзюб Алексеевн.

Пашламо Вам мой
контрактываваный кексы
баллады Тумкина «Маш

Баркова». Еце новыя
арыс Тумкина, но
не управе скажаць, радостны вы
дзёго ксты. Мурше вы
Тумкин не мисыць вы
нажыць.
М. Ц. Дзюб

Записка М. Цяпеловского художнику Я. Тепину.

Сегодня разреши свободу нам тиснения
Что завтра выйдет в свет? Баркова сочиненья.

Перестав "звездам выкать", неофиты гласности "узнали сладость рыкать"; увы, это явление, помноженное на самую обычную некультурность, приводит иногда к таким, к примеру, курьезам. Издательство ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия" распространило план издания своей литературы в 1992 г. Как обычно, печатный план предваряется рекомендациями Библиотеки им. Ленина — какой библиотеке что комплектовать. Библиотекам, обслуживающим детей, рекомендуется книга под №114. Под этим номером значится: "Барков И.С. Стихотворения, 3л, 2р, тираж 300.000 экз." ("Популярная поэтическая библиотечка"). В аннотации сказано: "...читатель может найти в ней и те произведения, которые ранее не могли быть напечатанными в нашей стране. Да, в них есть вульгарные слова..."

Бывает еще хуже. Поэт К.Ваншенкин ("Книжное обозрение" №12, 23 марта 1990 г.) упоенно провозглашает: "...его (Баркова) стих — невероятной свободы и изящества. Вот цитирую по памяти:

Дом двухэтажный занимая,
У нас в Москве жила-была
Вдова купчиха молодая,
Лицом румяна и бела.

Кто бы еще мог так написать за полвека до Пушкина! Ответить на вопрос К.Ваншенкина невозможно, ибо автор "Луки Мудишева", которого он цитирует, неизвестен, сочинены эти стихи в середине XIX века, и никакого отношения к Баркову, умершему в 1768 г., не имеют.

В той же газете, в №17 от 27.04.90 г. помещено "актуальное интервью" Андрея Битова "Сопrotивление культуре". На вопрос — что он может сказать о так называемой "параллельной литературе" — А.Битов простодушно рассказывает, что прочел воспоминания П.П.Вяземского (сына Петра Андреевича) о Пушкине. Дело было незадолго до гибели поэта. Пушкин сказал, что если когда-нибудь в России будет свобода слова, то в первую очередь следует издать сочинения Баркова. Тут пи-

сатель дает волю своему гневу: "сколько еще будет греться людей, обсуждая, что мат и что не мат". Здесь же рассуждения Битова о Баркове, "задолго до него" (т.е. до Пушкина) "заговорившего нормальным языком". Что имеет в виду Битов? Язык Баркова, хотя и крепкий, и выразительный, был все же языком XVIII века, — это не был русский литературный язык. Боюсь, что А.Битов читал того же незабвенного Луку, что и К.Ваншенкин.

Кстати, о самом мемуаристе. Нет сомнения в том, что Пушкин это Павлу Вяземскому сказал. Но, быть может, А.Битову следовало обратить внимание на тональность высказываний поэта. Павлу Вяземскому было тогда 16 лет, и вряд ли Пушкин был серьезен в разговоре с ним.

Следует также учесть и личность мемуариста, запомнившего слова Пушкина так, как ему хотелось. П.П.Вяземский известен в литературе сочинением фальшивых записок и писем француженки Оммер де Гелль о ее романе с Лермонтовым. Фальшивка была разоблачена в 1935 г., в научной статье по этому поводу, в частности, находим слова об "отгалкивающем характере этого романа в письмах, представляющего порнографический материал, перемежаемый садистскими образами" ("Литературное наследство", кн. 45-46, Лермонтов. Л., М., Изд-во АН СССР, 1948, с. 767).

Все не так просто, как думает А.Битов. Впереди серьезное изучение и этой ветви русской литературы, и здесь, несомненно, наука не один раз будет обращаться к образцовому исследованию М.А.Цявловского.



Вадим Линецкий

ИЗ ПЕТЕРБУРГА — НА ЗАПАД. СМЕНА ЛИТЕРАТУРНЫХ МИФОВ

Да, прежде — и ныне, тогда — и теперь!
(В.Белинский "Литературные мечтания")

Нерадостно пишут писатели, как будто ворочают глыбы. Еще нерадостнее катит эти глыбы издатель в типографию, и совершенно равнодушно смотрит на них читатель. Кстати, какое это странное слово! Все видят писателя, который пишет, издателя, который издает, но, кажется, никто не видит читателя, который читает. Читатель сейчас отличается именно тем, что он не читает. Он злорадно подходит к каждой новой книге и спрашивает: а что же дальше? А когда ему дают это "дальше", он утверждает, что это уже было. В результате этой читательской чехарды из игры выбыл издатель. Он издает Тарзана, сына Тарзана, жену Тарзана, вола его и осла его и уже наполовину уверил читателя, что Тарзан это и есть, собственно, русская литература.

Вообще-то вышеприведенный абзац следовало взять в кавычки, но я снял их, дабы показать, что тыняновская характеристика "литературного сегодня" за 70 лет почти ничуть не устарела и вполне годится для описания сегодняшнего литпроцесса. Правда, тогда Тынянов осторожничал, полагая, что это — промежуток (название другой его статьи на ту же тему), сегодня говорят прямо — тупик (А.Генис. Взгляд из тупика. "Огонек", 52, 1990). Я бы сказал мягче — кризис, но слово это

теперь вряд ли уже заденет сознание. Да и не в словах суть. Суть в том, что, по общему мнению, с литературой и в литературе ситуация у нас экстремальная. Тем шире простор для критиков, занятых опознанием "неясных теней грядущей литературы" (А.Генис). И то сказать: соцреализм мертв, авангард заметно ретрограден, издатель вновь издает Тарзана, а у читателя на руках израильская виза. И даже тем, кто остается, судя по всему, не до чтения. И, однако ж, не все так мрачно, господа, не все так мрачно. Судя по ряду симптомов, в числе коих, как ни странно, и читатель, который, едва стряхнув с себя обломовский сон, бросает отечественную словесность на произвол судьбы, русской литературе предстоит смена литературных мифов.

Начать хотя бы с того, что как раз в тот момент, когда надежды увидеть положительного героя, казалось бы, окончательно покинули советскую критику, герой этот наконец появился. Я имею в виду Запад, тот образ Запада, как он рисуется путешествующим публицистам либеральных изданий. Путешествовать — надо, а либеральные издания, если и заслуживают иронии, то пока еще только доброжелательной. Что касается упомянутых публицистов, то, как ни оценивай их деятельность, а надо признать, что по крайней мере она идет на благо грядущей литературе и потихоньку дает плоды. Запад стал для нас магическим именем, содержащим в себе сюжет, чреватый мифом. Огромный потенциал этого имени для литературы станет и вовсе очевиден, если вспомним, что этому — положительному — Западу сопутствует двойник патриотического изготовления, куда более привычный советскому читателю. Вот эта-то двойственность, помимо прочего, и создает напряжение, готовое разрешиться мифом.

Другой вопрос — нужен ли он нам? Ведь столько сил уходит на борьбу со старыми мифами, борьбу, которая, судя по сводкам с театра боевых действий, принимает эпический, гомеровский размах ("Покушение на миражи", "Мчатся мифы, бьются мифы", "Мифы и прозрения" — названия глав будущего эпоса). И: разве не мифами о Западе так долго пичкали нас?

Полностью признавая справедливость подобных сомнений, я все же продолжаю стоять на том, что литературе миф повредить не может, тем более тот миф, которым беременна сама действительность.

В известной мере верно, что Запад издавна (изначально?) имеет в России бытие мифологическое. Как-никак — страна святых чудес. Однако, при всем при том, никакого специального мифа о Западе в литературе 19 века обнаружить не удастся, хотя и стоял у ее истоков со своими "Письмами русского путешественника" Карамзин, в восторге целовавший "цветущий берег зеленого Рейна". Хотя и начинал какой-то свой роман Тургенев с того, что "10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною "Conversation" толпилось множество народа..." Хотя и делился с публикой, перепулав времена года, своими европейскими впечатлениями Достоевский, а Григорович с Гончаровым объехали вокруг света, оставив потомкам в назидание два увесистых тома. Словом, несмотря на то, что по уверению Блока, все всё помнили и знали, миф о Западе в 19 столетии так и не состоялся, заглушаемый пламенной декламацией Версилова. И не его вина, что попытки сотворить миф о Западе неизменно оборачивались мифом о России.

Итак, у нас не было мифа о Западе... Скажут: откуда мифу и взяться, ежели путешествие из Петербурга на Запад было для наших предков столь же привычным, как для нас из Москвы в Петушки? И будут неправы, ибо, строго говоря, ОВИР к мифологии никакого отношения не имеет. Подтверждение тому — главный миф русской литературы — петербургский миф. Миф долгожитель, погибший, хотя и насильственной смертью, однако не в результате переименования города, но от руки Андрея Белого, подложившего под него "сардинницу ужасного содержания". Предосудительный нравственно, поступок Белого оправдан эстетически: у мифов, как и у людей, не только свои судьбы, но и свои сроки активной жизни, по истечении коих они обречены. Петербургский миф был вызван к жизни не только схватками славянофилов с западниками, в ходе которых образ Петербурга, подобно сегодняшнему образу Запада, сохранял плодотворную двойственность, но и причинами сугубо литературными. Недаром же, в конце концов, "Серапионовым братьям" пришлось звать литературу — "на Запад". Поход не состоялся, возможно, потому, что под "Западом" в который раз разумелись вещи, быть может, и полезные, но чересчур произаические: авантюрный сюжет и достойный этого сюжета герой — все то, что рекомендует сегодняшней литерату-

ре А.Генис. Уж слишком это, на мой вкус, по-петр-первовски, слишком расчётливо, слишком рационалистично. Так что правы те, кто с Генисом спорит (хотя бы Наталья Ивановна — Личность против анонимности. "Лит. газета" №3, 1991) и были бы они трижды правы, когда бы их рецепт (дневник и записная книжка) не был столь же прозаичен. Сдается, мы вновь жадно смотрим по сторонам в поисках того, "чего у нас не было" (А.Генис), тогда как надо серьезно поразмыслить над тем, чего нам действительно не хватает. К слову сказать, именно так поступили латиноамериканцы, использовавшие для сотворения своего мифа арсенал авангардистских приемов. А русской литературе сейчас нужен материал (Н.Иванова: "Читать сегодня крутые "чернухи" с вымышленными героями и героинями просто не интересно". — А.Генис: "...эскалация кошмаров... лишает литературу даже не надежды — поэзии"). И почему бы за этим материалом не обратиться на Запад?

Неверно к тому же, будто мы сыты мифами о Западе. Вопреки распространенному мнению, соцреализм вообще ни одного полноценного мифа не создал да и не мог создать — по причине своей общепризнанной инфантильности. Если миф и родственник соцреализма, то слишком дальний. Ближайшее родство иное: реклама, комикс, басня. Не случайно едва ли не классиком советской литературы был признан Крылов, не пользовавшийся кредитом у психологических реалистов, даже у тех из них, кто открывал сельские школы. Мы выросли на баснях, в том числе — на баснях о Западе. До мифа же, как прекрасно выразился А.Ф.Лосев, нужно дорасти.

Итак, у нас нет мифа о Западе — потому, вероятно, что русская литература, в целом, до такого мифа не доросла. И это несмотря на "русских европейцев", на свободный выезд из царской России, на три волны эмиграции, последняя из которых грозит завершиться девятым валом. Неверно, конечно, что Запад вообще и эмигрантское бытие в частности обойдены вниманием отечественной словесности. Берберова ("Биянкурские праздники"), Г.Газданов ("Ночные дороги"), Г.Озерецковский ("Последние из могикиан"), Виктор Петров ("Город на Сунгари"), В.Г.Федоров ("Финтифлюшки"), Михаил Федотов ("Соотечественники"), А.Львов ("Бизнесмен из Одессы"), Л.Штерн ("Под знаком четырех"), даже Виктор Платонович Некрасов ("Праздник, который всегда и со мной...") заслужи-

вают упоминания — по крайней мере на правах натуральной школы, которую А.Генис совершенно справедливо называет "фундаментом большой, главной литературы", усматривая, однако, сей фундамент в "чернухе" на отечественном материале. Благодаря немногим упомянутым авторам и многим неупомянутым, о бедах и радостях эмигрантской жизни, о трудностях вхождения в иноязычную среду, об эмигрантах-неудачниках и удачниках, короче, о горьком хлебе изгнания и трагикомедии эмиграции мы знаем все — и ничего не знаем. Так же, как благодаря костюмбристам (Мариано Азуэла, Хосе Рубен Ромеро, Агустин Яньес) прекрасно знали историю и этнографию своего континента те же латиноамериканцы — но не имели литературы.

Несколько выделяется на этом фоне проза Сергея Довлатова, в частности его повести "Ремесло" (точнее — 2-ая ее часть "Невидимая газета") и "Иностранка". Лев Лосев вполне основательно отметил способность Довлатова возвышать обыденность до уровня мифа (см. Памяти Сергея Довлатова. "Ленинградский литератор", №4 (49), 1990). С другой стороны, "Иностранка" показывает, почему проза Довлатова осталась лишь обещанием мифа.

"В эмиграции было что-то нереальное... То есть можно было попытаться начать все сначала. Избавиться от бремени прошлого". Прежде всего миф — согласно высокому его пониманию — это реальность. А во-вторых, отношение к мифу лишено корысти и расчета. При утилитарном подходе миф состояться не может. И — кроме литературы — миф нам ничего не даст.

Освоение реальности возможно для литературы только на путях мифа. Литературная реальность — всегда мифологична. Сегодня, когда наша словесность находится в поисках реальности, то есть в поисках мифа, просто удивляет, что Запад по-прежнему остается реальностью литературно неосвоенной, для литературы — по большому счету — не существующей.

"Это для нас — terra incognita. Политические известия только сбивают с толку всякого, кто бы захотел получить понятие о положении этой земли. Главная заслуга автора состоит в том, что он на все смотрел собственными глазами, не увлекаясь готовыми суждениями, рассеянными в книгах, газетах и журналах. Оттого взгляд его нов, оригинален, и все заверя-

ет читателя в его верности, в том, что он знакомится не с какой-нибудь фантастической, а с действительно существующей страной”, — писал Белинский о “Письмах об Испании” Боткина. В реальном существовании Запада, в том, что он не фантастика, а действительность, мы более-менее убедились, некоторые даже собственными глазами. Остается загадкой, почему ничей взгляд до сих пор не оказался нов и оригинален, почему ничьи глаза не увидели в Западе — миф?

Словом, причина — в глазах, в зрении. Какими глазами смотрит русский литератор на Запад? Вопрос содержит в себе ответ: он смотрит глазами литератора, глазами автора, а следовательно, не подвергает сомнению традиционную схему своих отношений с героями и читателями. Пересмотреть эту схему — одна из первоочередных задач литературы. Отечественному авангарду задача эта оказалась не по зубам.

Полезно в этом смысле почитать тех, чье существование обычно игнорируется критикой. Например — Жванецкого, например — его роман-фельетон “Жизнь моя, побудь со мной!” (“Аврора”, 1, 1991). Рассказчик, чьи отношения с автором постоянно меняются по ходу повествования, — порой становится чистой функцией для описания “страны чудес” — пускай далеко не святых: “Двери в квартирах металлические. Вода после спуска в унитаз заливается через кран сверху, крышка бачка в виде раковины и ты моешь руки водой, наполняющей бачок. Остроумно”. Интонационно и стилистически Жванецкий приближается здесь к стилю нашего неизвестного соотечественника, автора “Журнала путешествия по Германии, Голландии и Италии в 1697-99 г.г.”, послужившему Тынянову ориентиром в его поисках выхода из ситуации, типологически сходной с переживаемой литературой сегодня: “В Амстердаме видел в доме соборы золотые и серебряные и всякие руды. Видел стекло зажигательное, в малую четверть часа растопит ефимок. Видел ворона, тремя языками говорит, морского зайца, у которого затылочная кость полторы сажени. Видел рыбу морскую и с крыльями, может везде летать. Пречудно”. Рассказчик — весь зрение, бескорыстное и восхищенное. Запад для него — сказка, но сказка — увы, не миф.

И тем не менее это новый взгляд — взгляд героя 19 века, “маленького человека”, взгляд Акакия Акакиевича. Запад может стать мифом только для Акакия Акакиевича Башмач-

кина, а потому, рискну предположить, творцом мифа о Западе будет "бедный писатель", осознавший свое родство с "бедным чиновником", из шинели которого, как говорят, пошел быть реализм, именуемый критическим, — населивший Россию "лишними людьми". Для этого метода автор — не только мера всех вещей, но и единственный поистине нужный, не лишний человек в России.

Потому, вероятно, мы и не имеем мифа о Западе, что о нем нам рассказывали до сих пор только с этой точки зрения. Для нас аксиома, что беден — чиновник, а никак не писатель. Его гордость — его богатство, причем не обязательно детсадовская гордость советским паспортом (Маяковский "Мое открытие Америки", Пильняк "О кей. Американский роман"). Эстетически равноценна гордость вообще — будь то гордость уникальным историческим опытом России, или значительностью опыта личного, или, наконец, знакомая, кажется, только русскому литератору гордость ремеслом. В результате "Солженицын" — стало именем нарицательным, и даже для китайца, по свидетельству Довлатова (см. "Иностранку"), первый встречный русский писатель — Солженицын:

"Китаец из закуской приветствует меня:

— Доброе утро, Солженицын!

(У него получается — "Солозениса".) И это льстит. Но это — тупик.

Если мы действительно хотим из него выбраться, то начать нужно, очевидно, с переосмысления роли автора — и в тексте, и в нашей жизни. Об этом говорил в своем последнем интервью Давид Самойлов: "Наша литература, как мне кажется, не занимается очень существенной, а может быть, главной задачей. В новых условиях должен явиться новый тип литератора" ("Юность" 9, 1990). С моей точки зрения, таким новым типом может стать тип "бедного писателя", писатель, преодолевший косноязычие Акакия Акакиевича, но не утративший его смирения. Обнадеживает, что сходно со мной думает и Михаил Кураев, один из наиболее интересных современных прозаиков: "Критика нет-нет да и замечала тень Гоголя на некоторых страницах немногочисленных моих сочинений. Лестно, конечно, но странно: мне-то кажется, что очевидней мое сходство как раз с Акакием Акакиевичем... Нет, с Акакием Акакиевичем чувствую много общего. Даже о теплой шинели

мечтал, столь необходимой в петербургском климате" ("Лит. газета" №8, 1991). Через это родство связь между двумя мифами — отжившими свое петербургским и имеющим родиться мифом о Западе — представляется закономерной. Литературная эволюция есть смена литературных мифов и авторских типов, а не просто смена циклов, как полагает М. Чудакова (Сквозь звезды — к терниям. Смена литературных циклов. "Новый мир" 4, 1990).

"Литературный агент говорил мне:

— Напиши об Америке. Возьми какой-нибудь сюжет из американской жизни. Ведь ты живешь здесь много лет" (Довлатов. "Иностранка").

Для того чтобы создать запрошенный миф о Западе, в принципе, вовсе необязательно уезжать из Петербурга. Быть может, Михаилу Кураеву удастся то, что не удалось Сергею Довлатову? Но это уже, повторим Белинского, "поэзия, а не проза, мечты, а не сущность"...



HERMITAGE

ЭРМИТАЖ

В 1991 году вы можете приобрести в нашем издательстве:

Аверинцев Сергей. «Религия и литература»	7.00
Аксёнов В. «Аристофаниана с лягушками». (Пьесы)	10.00
Ашкенази В. «Преодолевая границы». (Мемуары)	12.50
Бар-Ор. «Приходит века и уходит века». (Стихи)	8.00
Вайль П., Генис А. «Родная речь». (Статьи, 200 с.)	12.00
Визель Эли. «Завет». (Роман, 272 с.)	12.50
Галич Александр. «У микрофона». (172 с.)	12.00
Губерман И. «Прогулки вокруг барака». (200 с.)	10.00
Довлатов С. «Чемодан». (Повесть, 120 с.)	7.50
Езерская Белла. «Мастера» (Кн. 1 и 2)	8.00 и 10.00
Елагин Иван. «Тяжелые звезды». (Стихи, 350 с.)	12.00
Ефимов И. «Архивы Страшного суда». (Роман, 320 с.)	8.50

Заказы и чеки отправлять по адресу: Hermitage, P.O.Box 410
Tenafly, N.J. 07670, USA.

К стоимости заказа добавьте 2.00 дол. на пересылку
(независимо от числа зак. книг). При покупке 3-х и более книг
скидка 20%.

Зиновий Зиник

ПИСЬМА ИЗ ДУБЛИНА

1. Блумов день

Пишу все в том же состоянии — от себя уставший. Вчера были гости, а я был мрачнее тучи: не могу ни о чем другом говорить, кроме как о самом себе, а от себя я уставший, так что сижу и молчу. Но в промежутке была поездка в Дублин с Ниной по случаю моего дня рождения 16-го июня, а отметить ее мы решили в Дублине за счет Бибиси, поскольку эта дата еще и Блумов день: в этот день герой "Улисса" Леопольд Блюм разгуливает по Дублину. Разгуливали и мы по его маршруту ("Совершить невозможное", согласно Леопольду Блюму, это отыскать такой дублинский маршрут, где по дороге не встречается ни одного паба). "Совершить невозможное", как и ему, нам не удалось, и пиком был ланч: гиннес с устрицами и Войновичем (он тоже оказался в Дублине по другим литературным соображениям). Он получил от Горбачева квартиру в Москве в том доме, где Полозкову квартиру не дали, а ему дали. "А как же насчет принципов?" спросила его Нина в связи с прошлыми клятвами по поводу отъезда с родины. На это он без обиняков ответил, что принципы — принципами, но жизнь — одна и идет, порой, вразрез с принципами ("Отчего же я продолжаю оставаться таким принципиальным многострадальным мудаком?" подумал я тут же), и, если продолжать настаивать на принципах

в вопросе возвращения, можно дойти до солженизмов, с выдвижением условий: приеду, если напечатают в госиздате; затем: если напечатают по всей стране, в каждом городе и селе; затем: если каждый пионер заучит наизусть мое полное собрание сочинений и т.д.

Ланч с устрицами и с возвращенцем Войновичем в Дублине происходил в пабе "Бейли", хозяин которого успел спасти дверь дома Леопольда Блюма (там же проживала жена Джойса, Нора Барнэкл), когда дом сносили, чтобы построить на его месте новое крыло больницы Mater. Все это я излагаю, чтобы сообщить об удивительной исторической зацепке: капелланом этой больницы служил отец Печерин, тот самый "невозвращенец" Печерин эпохи Николая I, университетский классицист, лишний человек. Сбежав из России, он перешел в католичество и стал монахом. Его учреждение, в конце концов, "выселило" Леопольда Блюма из Дублина: на память просвещенному человечеству осталась одна дверь. Патрик Каванах, дублинский поэт и поклонник Джойса, устанавливая эту музейную реликвию в пабе его приятеля, произнес на клоунской церемонии по этому случаю эпохальную фразу: "Я объявляю эту дверь — закрытой!" Герцен считал, что переход Печерина в католичество — это попытка уйти как можно дальше от России, забаррикадировать себя другой религией от всего российского. Не мерещится ли тебе сходство между этим переодеванием в католическую рясу, и нашим паломничеством к Сиону?

Не знаю, кто виноват в подрыве идеи дружеского клана (вспомним свои московские предотъездные высказывания), но ясно, что первобытно-общинное отношение к действительности ушло. И ничем не заменилось. Когда я пожаловался на это Антони Берджесу (автору "Заводного апельсина"), он страшно удивился: "Но вы же еврей, вы не должны испытывать одиночество?" Но я жалуясь не на одиночество, а на бесприютность: на отсутствие дома. Не ходить же мне в синагогу за углом с хамстыдскими животиками в серых тройках, и не в церковь же идти напротив с негритянскими баптистами? А вне религиозной церковности, общинности, все мое еврейство сводится или к параноидальному состоянию меченности — как негр в толпе белых, но только эта меченность не с людской точки зрения; ощущение такое, что тебя вот-вот призовут к отве-

ту; или же это полная беспросветная затерянность, провал. Но в обоих случаях какая-то непроходимая бессюжетность, джойсовская белиберда, авангардная дешевка. Я, в этом смысле, говорил про соблазнительную "сюжетность" христианства и попытку отыскать этот мотив в иудаизме. Но кроме спорщика Иова и хромоногого Иакова — у нас сплошные откровения, пронзительная интуиция, головокружительные события, но никакой сквозной идеи: слова, слова, слова.

"Вы испытываете чувство вины, потому что говорите на английском. Живете в английском языке. Вы чувствуете, что предали русский язык. Великий и могучий, — не так ли? как сказал Тургенев, не так ли? (Я успел вставить: "Тургенев, да: месяц в деревне — одиннадцать месяцев за границей".) А вы пренебрегли этим языком, и вы испытываете чувство вины", сказал в ответ Антони Берджес. Он пригласил меня с Ниной на ланч в Дублине, потому что, оказывается, он большой поклонник "Руссофобки и фунгофила", известного в переводе на английский как "The Mushroom Picker". "Грибы — потрясающий символ: вагина, Россия, Вы правы. Наркотик. Атомный гриб. Да. Да. Но вы знаете, что итальянцы — тоже большие ценители белых грибов?" (У Антони Берджеса — жена итальянка). Жена (лет шестьдесят, маленького роста, быстрая пигалица, с очень добрыми глазами, с двумя пластмассовыми розочками в буклях) сказала, что католическая церковь тоже пыталась навязать ей чувство вины, когда ее первый муж в Италии завел любовницу и ей пришлось переехать на другую квартиру, поскольку она, формально замужем, жила под чужой крышей, ее обвинили в адюльтере и отлучили от церкви. По телефону (когда я позвонил по их просьбе, чтобы договориться о встрече) она тут же, с интонацией дамы, общающейся со слишком большим количеством людей одновременно, стала тараторить со светской заботливостью: "Ну как все прошло вчера, как все вчера прошло?" Я был ошарашен вопросом: что прошло? почему вчера? Но потом подумал: вчера было и прошло; я пока жив (хотя после кружки гиннеса желудок и выворачивает наизнанку); значит вчера прошло хорошо, все прошло, все хорошо, вчера и даже сегодня. Все будет хорошо. "Много было народу, было много народу?" спросила она. Народу было много на улицах Дублина, и я был все время на улицах, поэтому я

сказал: да, народу вчера было много. (Потом я сообразил, что она спрашивала насчет литературного конгресса, куда их пригласили и она считала, что пригласили всех с кем она разговаривает по телефону, но меня на конгресс не пригласили, пригласили Войновича.)

Сразу скажу, что хотя встреча продолжалась часа четыре и разговор касался четырех сторон мира и двадцати четырех сторон земного существования, то и дело всплывала тема его, Берджеса, перевода "Горя от ума". Ему заказали перевод театральной версии, и я думал, что он возвращается к этой теме в разговоре со мной, чтобы заодно и проконсультироваться. Только вернувшись в гостиницу и вспоминая ходы разговора, я понял, что Грибоедов всплыл у него в мозгах из-за романа "Mushroom-Picker", то есть "Грибник". Но я тоже хорош: стал рассказывать про магазин "Грибы и ягоды" у Кировских ворот, там, где памятник Грибоедову. У меня в подсознании, видимо, застрял "Заводной апельсин" Берджеса, хотя апельсин трудно назвать ягодой, а тем более грибом. Вспомнили, что Грибоедова в Персии убили, можно сказать, англичане, что вернуло нас к ирландским повстанцам против английского владычества. "Вы живете в Англии? Значит вам дадут рыцарское звание. Вы получите звание сэра. Я не получу". Почему? "По трем причинам. Первое: я написал "Заводной апельсин". Развратил английских подростков. Во-вторых, я католик. И еще: я живу за границей". А мы думали, что за это осуждают только в России. "Русское слово дом", спросил Берджес, "это ведь от слова dome? не так ли? Это надо понимать в том смысле, что по-русски даже дом и тот не родной". Я со своей стороны предположил, что слово Царь, Tsar, однокоренное со словом Сэр, Sir, Sire — звучит аналогично. (Его одержимость каламбурами и экзотическими словами: Грэм Грин, прочитав в газете свою беседу с Берджесом, сказал, что тот вложил в его уста слова, которые ему потом пришлось вычитывать в словаре.)

"Англичане — грубая жестокая нация. Что такое счастье, спросил я молодого человека в пабе. Fucking lager (Пиво, бля!), ответил он мне. Fucking lager!" Он живет в трех странах сразу, но большую часть времени проводит в Швейцарии. Никому, однако, в Швейцарии он жить не советует. В Швейцарии могут арестовать за то, что ты смеешься, издевательски рассмат-

ривая денежную купюру. Смеяться над деньгами в Швейцарии — преступление. А поскольку швейцарцы не признают презумпции невиновности, то тебя могут продержать в тюрьме хоть всю жизнь, пока не докажешь, что смеялся ты вовсе не над банковской ассигнацией. "Зачем же вы там живете?" спросили мы его. "Но надо же где-то жить", ответил он. "Вы — романист. Романист живет один. Я живу один. Со своей женой". Жена тем временем быстро доедала за ним гигантский гамбургер с чипсами. Он при этом, в свои семьдесят пять, курил сигару и глушил коньяк. "У нас нет друзей. Я совершенно одинок. Абсолютно никого". Дети почему-то не учитывались. "Я и мои романы. Больше никого". Не чувствует ли он разрыва с языком после стольких лет? Он кивнул и сказал, что не рискнул бы взяться за роман о современной Англии. "Fucking lager. Нет, романа о современной Англии не получится. Мне остается область вымышленного. Разговор Моцарта с Бетховеном на небесах, нечто в этом роде, в таком духе". Я стал рассказывать про свое получение британского гражданства, про клятву верности королеве, про то, как решил переложить личную ответственность на плечи Бога и поэтому решил поклясться не юридически, а на Библии, и как адвокат принес Евангелие и я сказал, что не хочу перекладывать ответственность на плечи чужого Бога. Я сказал, что поклялся в конце концов на книге Исхода и Пророков.

"Леопольд Блюм не был евреем", сказал Берджес. "Его мать была ирландкой, а отец — крещеный еврей. В дублинском пабе, однако, все эти тонкости совершенно излишни". Ланч проходил в лобби дублинского отеля "Хилтон", мимо наших столиков сновали люди. Вдруг один из проходящих остановился как вкопанный, и шепчет по-русски: "Вы Зиновий Зиник?" Я вскочил, раскланялся. Оказался некий поэт с поэтически значащей фамилией Хлебников. Из "Огонька". И как они меня все читают, и даже хотели напечатать "Эмиграцию как литературный прием". И т.д. и т.п. Краем глаза я видел лицо Антони Берджеса, с выражением неприятного удивления и решительного недоумения: его лицо известно каждой собаке, читающей газеты и глядящей телевизор, — дня не проходит без того, чтобы его портрет где-нибудь не появился. Но из всех сидящих за столом узнали меня. "Вы получите звание сэра", повторил он, нахмурившись, когда я вернулся к столу. Такой между нами войнович получился. Я вдруг почувствовал себя заводным апель-

сином. Заводной Зиновий Зиник. Печерин, между прочим, под конец разочаровался не только в социализме и дружбе; он даже свое собственное монашество стал называть "назаретским помещательством" (The Nazarene folly) Ya vdrug pochuvstvoval, chto ustal perevodit s odnogo yazyka na drugoi. Nina slipped at the banana skin or a plum-stone and broken her arm at the wrist.

2. Главный герой в поисках автора

Поскольку речь пойдет об авторских мотивировках в эмигрантской прозе, я хотел бы процитировать иронический пассаж о Зиновии Зинике в лекции Арнольда МакМиллана "Dislocation of Russian Literature": London-based Zinovy Zinik's *Russofobka i fungofil* disturb any lingering complacency we may have about our own society, where phenomena as disparate as giving to the Salvation Army at Christmas, buying rounds in pubs and tending suburban gardens are excoriated as examples of British hypocrisy" (Роман "Руссофобка и фунгофил" обосновавшегося в Лондоне Зиновия Зиника лишает нас последних надежд на самоуспокоенность в отношении нашего общества, где такие чудовищные феномены, как пожертвования в кассу Армии Спасения под Рождество, обычай ставить выпивку "на всех" по кругу в пабах или же ухаживание за своим домашним садиком разоблачаются как примеры британского лицемерия).

Мне было бы легко отделаться от обвинений в злобных антибританских (и заодно антирусских) настроениях этого романа, заявив, как это делается в аналогичных случаях, что таковы не мои настроения, а настроения моих героев. Автор, как это неоднократно повторялось в истории литературы, не отвечает за взгляды, высказывания и поступки своих героев. Но если автор не отвечает, то кто же еще? Конечно же, родители должны отвечать за своих детей. Автор не тождествен герою романа, но герой — часть автора. По крайней мере, если не по взглядам или описываемой физиологии, то по той причине, что автор этого героя породил — то есть выбрал определенный тип персонажа, определенный, подходящий для его целей прототип. Идеологические аспекты такого выбора и есть, по-моему, центральный момент в метаморфозах эмигрантского романа.

Возвращаясь к цитате из Арнольда МакМиллана, я хочу обратить ваше внимание на два слова перед моим именем: London-based. Лондон для меня действительно постоянное место жительства. Более того, по паспорту я британец. Но... тут начинаются разные "но": у меня есть еще и израильский паспорт. Кроме того, я прозу пишу на русском языке; правда, эссеистика иногда – по-английски. Слова London-based – это аккуратная формулировка, позволяющая избежать запутанного выяснения раздвоенности или даже растроянности (от слова "три") моего существования. Уклончивость формулировок в подобных случаях неувидительна: от того, на каком из паспортных аспектов эмигрантского существования героя делается акцент, во многом зависят и взгляды героя. А это, в свою очередь, зависит от того, кем – в момент выбора героя для своего рассказа – чувствует себя автор. И метаморфозы последних лет в этом смысле поразительны.

Но главная авторская дилемма осталась прежней. Кем бы в жизни ни считал себя автор из России, какой бы паспорт ни носил в кармане, в сердце своем он не хочет расставаться со званием русского писателя. Я хочу сохранить за собой жертвенный статус принадлежности к русской литературе, не потеряв при этом привилегий и свобод подданного британской короны. Вполне вообразима и абсурдная, казалось бы, крайность подобной дилеммы: когда человек полностью и окончательно перешел на английский, но продолжает считать себя русским писателем. (За примерами ходить недалеко: Владимир Набоков). Эта авторская раздвоенность играет непосредственную роль в формировании мировоззрения главного героя, порожденного автором. Грубо говоря, чем прочнее автор приписывает себя к Москве (приписывает в любом, самом широком смысле слова), тем отчужденней становится его описание вне-московской заграничной действительности.

Писать по-русски в Англии значит описывать русскими словами вещи, существующие только по-английски. Например, то, что по-русски означает сосиску – вовсе не sausage, а, скорее, frankfurter. Можно, конечно, назвать English Sausage просто-напросто "английской сосиской", как поступают все иностранцы, описывая английскую сосиску. Или же начать объяснять ее внутреннее содержание: например, объяснить русскому читателю, что по вкусу эта самая сосиска напоминает котлеты по 6 коп.

без панировки — из продмагов и кулинарий 70-х годов (для тех, кто помнит ассортимент продмагов 70-х годов). Короче, приходится не называть вещи своими именами, а прибегать к вторичным ассоциациям, аллюзиям и реминисценциям из другой культуры. Это описание иной культуры по, так сказать, вторичным половым признакам неизбежно пародийно. Именно поэтому вышеозначенные трудности в описании иной культуры — не только вопрос перевода с одного языка на другой. Точнее, вопрос перевода "переводится" в более широкий метафизический план.

Каждая попытка выстроить новую фразу — это попытка выкарабкаться из депрессивной, в своей обыденности, чуждости в неизведанную близость. Литература — это уход от слов, навязанных тебе как якобы свои (а это и есть рутинная и обыденность), в слова чужие и незнакомые, узнанные тобой как родственные. В этом смысле словесность — это преодоление чуждости. Эмиграция, отъезд навсегда в иные земли — лишь одна из форм подобного преодоления обыденности и чуждости. Поэтому эмиграция как жизненный поступок и создает иллюзию готового романа. Отсюда такое человеческое отчаяние, когда романа не получается; отсюда такая авторская паника, когда не получается жизни вдали от знакомых мест.

В нашей природе встречать чуждое и непонятное нам или с агрессивной враждебностью, или игнорированием — то есть, в конечном счете, уходом от этой чуждости в родные пенаты. Эмигранту деваться некуда, и, если он не полный дурак, он будет скрывать свои оригинальные чувства по отношению к чуждой ему новизне вокруг: иначе он очень скоро сдохнет — если не от голода, то от тоски (самоизоляции). Остается поэтому другой вид эмигрантского оружия: смех, ирония, насмешка. Мы смеемся, как известно, не только умиляясь парадоксальным или анекдотическим аспектам бытия, но и чтобы скрыть свое замешательство и конфуз. Это еще и уничижительный смех — мы принижаем в собственных глазах грозное в своей загадочности и чуждости новое окружение, усмиряем его сатирическими зарисовками, похлопываем по плечу ироническим комплиментом. И вот мы уже на равных. Теперь можно искажать и корезить имена, калечить и подминать под себя литературные цитаты, переименовывать религиозные доктрины и метить чужую географию мелком своего мелочного сознания.

Благородный автор, однако, сам не готов к подобному акту изнасилования чужой культуры. Поэтому он поручает это задание по установлению прочных культурных связей с границей своим персонажам. Персонаж этот, по необходимости, непременно отрицательный. Я не знаю ни одного положительного героя в эмигрантской литературе. Но я лучше не буду обобщать и скажу, что нет ни одного положительного персонажа в моей собственной прозе. Эмигрант — сам по себе персонаж отрицательный. Эмигрант — это человек, отказавшийся от родины, временно поселившийся в другой стране и отказывающийся принять новое место жительства как свой настоящий и будущий родной дом. Эмигрант — это тот, кто покинул родину и мечтает не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра на родину возвратиться. В этом смысле я — не эмигрант. С моим двойным — израильско-британским — гражданством у меня хватает родных домов будущих и настоящих. Но лишь относительно недавно я понял, что притворяюсь эмигрантом по литературным соображениям. Точнее, как только речь заходит о русской литературе и моем "месте в ней", как говорят литературоведы, — я автоматически становлюсь эмигрантом.

Я эмигрировал в ту эпоху, когда московские круги жили категориями разделения мира (советского мира) на наших и ваших, на добро и зло. Мы уезжали, чтобы оказаться по ту сторону зла, по ту сторону железного занавеса. Добро отождествлялось со взглядами и позициями "своего" круга, своих друзей, "наших". И когда я писал про здешнюю жизнь, я естественно приравнивался под своего читателя, я занимался "переводом" здешней реальности на их язык. Это и есть "эмигрантская сущность" героя. Чтобы перевод был понятен, необходимо взглянуть на иностранную жизнь глазами того, для кого делается перевод. Таким образом и возникает персонаж, если не враждебно, то, во всяком случае, иронично относящийся к здешней "чуждой" нам, нашим, московским, реальности. Русская литература здесь и начиналась как раз с остраненной, романтически отчужденной точки зрения отверженного на окружающее. Потому что были за спиной те, для кого эта точка зрения была "своя". Но с падением железного занавеса мы все оказались по ту сторону добра и зла (в советском понимании этого разделения — на про-режимных людей и диссидентствующих). Круги друзей превратились в круги на мутной

воде. Друзья остались друзьями, но перестали быть кругом. Распалось и цельное в своей враждебности видение моего героя. Он уже не оглядывается с ностальгической улыбкой на свое московское прошлое. Оно превратилось в кучку разрозненных собеседников. Без пафоса разлуки.

Нет больше разделения на эмигрантскую литературу и литературу метрополии — казалось бы. Но слияния не произошло. Раньше эмигрантский статус был еще и политически припечатан, закован в железный занавес, носил моралистический, дидактический характер. Занавес пал, темницы рухнули — и нас тут же приписали к Москве. Произошла колонизация — централизация литературы; эмигрант из отверженного одиночки превращается в вассала литературной метрополии. Конечно же, я избавился от своего эмигрантского статуса в жизни, но русская литература, не говоря уже о русской культуре, не столь либеральна. В истории русской литературы разделение на англичанина (еврея, татарина, прибалта) в жизни и русского "лишь на словах" невозможно. В литературе я остаюсь эмигрантом. Я остаюсь иностранцем. Из эмигранта внешнего по отношению к русской литературе я превращаюсь в эмигранта внутреннего.

Все возвращается на круги своя: я с этого начинал — с внутренней эмиграции. Я бежал от советской литературы. А теперь меня к ней опять приписывают. Став внутренним эмигрантом по отношению к русской литературе уже здесь (то есть, перестав оглядываться на свое русское литературное окружение), я начинаю избавляться и от пародийного (то есть увиденного российским взглядом) восприятия английских реалий. Значит, я перестаю переводить (то есть пародировать). То есть, гляжу и слышу, как некий англичанин довольно странного и монструозного рода — мыслящего на английском, но изъясняющегося на русском. Но не кончается ли русская литература на этом? Или же возможна русская литература на, так сказать, "русском" английском — вот в чем вопрос.

Как человеку, мне в последние годы все меньше и меньше охоты выезжать из Лондона, с этого острова, даже в Париж: я люблю Newcastle Brown Ale and The Famous Grouse whisky, fish-and-chips misty lawns, and country pubs, Sunday papers and cliffs of Dover, Shakespeare and the Queen. Я не собираюсь переселяться обратно в Москву. Но я недаром перешел на английский, перечисляя свои влюбленности на Альбионе —

не только потому, что лень переводить специфически английские аспекты здешнего быта и бытия на иной язык, но еще и потому, чтоприятие чуждой еще недавно реальности практически невозможно на ином — по отношению к этой реальности — языке. Когда речь заходит о русской литературе, весь удивительный список личных открытий испаряется на глазах, как симпатические чернила. Речь идет о том, возможно ли перевести на твой родной язык то, что завораживает именно потому, что кажется неперевоодимым на другой язык? Может ли стать родным — не свое? Как можно словесно осознать, принять, понять чуждость, если чуждость и есть то, что невозможно осознать, принять, понять?



HERMITAGE

ЭРМИТАЖ — Publishers of New Russian Books

P.O. Box 410, Tenafly, New Jersey 07670, U.S.A.

Tel. (201) 894-8247

Ефимов И. «Кто убил президента Кеннеди?» (320 с.)	10.00
Ефимов Игорь. «Светляки». (Афоризмы, 110 с.)	8.00
Ефимов Игорь. «Седьмая жена». (Роман 420 с.)	14.00
Жемчужная З. «Пути изгнания». (Восп. 300 с.)	14.00
Зайчик Марк. «Феномен». (Рассказы, 184 с.)	8.50
Зернова Руфь. «Женские рассказы». (160 с.)	7.50
Иванов Георгий. «Третий Рим». (Избр. проза)	14.00
Избранная проза семидесятых. (260 стр.)	14.00
Кенжеев Б. «Осень в Америке». (Стихи, 120 с.)	8.00
Крамова Надежда. «Пока нас помнят». (Восп. 176 с.)	8.50
Лосев Лев. «Тайный советник». (Стихи)	8.00
Лосская Вероника. «Цветаева в жизни». (320 с.)	15.00
Мотлин Владимир. «Эффект Либерсона». (Рассказы)	8.00
Муравина Нина. «Встречи с Пастернаком» (220 с.)	15.00
Найман Анатолий. Стихотворения	8.00
Озерная Н. «Разговорник для новых американцев»	9.00
Платова В. «Неяркая жизнь Сани Корнилова». (Расс.)	7.50

Заказы и чеки отправлять по адресу: Hermitage, P.O.Box 410 Tenafly, N.J. 07670, USA.

К стоимости заказа добавьте 2.00 дол. на пересылку (независимо от числа зак. книг). При покупке 3-х и более книг скидка 20%.

Саша Арсантов

ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНый

Эпическая трагедия в одиннадцати письмах

Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный
Пошел по Невскому гулять.
Его поймали,
Арестовали,
Велели паспорт показать.

”Я не советский,
Я не турецкий,
Меня нетрудно раздавить, —
Ах не стреляйте,
Не убивайте,
Цыпленки тоже хотят жить!”

1.

Считаю своим комсомольским и гражданским долгом сообщить, что преподаватель истории и обществоведения Дворкин Михаил Борисович на своем уроке в 10-м классе 16 марта сего года допустил антисоветские клеветнические высказывания в адрес Центрального Комитета нашей Партии, Советского Правительства и ихней деятельности на благо нашей Родины. Очевидно, что свое антисоветское выступление Дворкин Михаил Борисович сознательно предпринял именно сейчас, в надежде ослабить идейно-политическое единство Партии и народа в тяжелый для Родины час, воспользовавшись великим горем, постигшим нашу Родину — смертью нашего дорогого Отца и Учителя, Великого Вождя Иосифа Виссарионовича Сталина.

Бройлер Эдуард, 10-б класс, 16 марта 1953

2.

В партийную организацию Ленинградского университета имени А.А.Жданова от Бройлера Эдуарда заявление.

Выражаю резкий протест в связи с клеветническим выступлением студентов Сидорова и Федорова, которые на общем собрании, состоявшемся 13 декабря 1960 года объявили, что я якобы "не имею морального права" выступать от имени жертв сталинизма, а также сделали ряд других клеветнических беспочвенных обвинений. Мой отец, Бройлер Леопард, был незаконно репрессирован в годы культа личности (ныне реабилитирован), в связи с чем я подвергся преследованиям и гонениям в мрачные времена культа, но никогда не терял веры в Коммунистическую Партию, в ее светлые Ленинские Идеалы. Пытаясь очернить людей, пострадавших в годы нарушений Социалистической Законности, Сидоров, Федоров и им подобные действуют сознательно, выступая против партийного курса на преодоление последствий культа личности, с целью подорвать возвращение к Ленинским Нормам, провозглашенное XX съездом нашей Ленинской Партии. Прошу обуздать наглых клеветников Сидорова, Федорова и ихних подпевал.

Бройлер Эдуард, 13 декабря 1960 г.

3.

От имени партийной организации факультета истории Московского Государственного университета и от имени всего преподавательского коллектива выражаю резкое негодование предательской акцией "профессора" Рабиновича. Этот, с позволения сказать, "преподаватель" отрекся от самого святого — Родины, польстившись на посулы сионистских зазывал. Нет слов, чтобы выразить негодование "действиями" продажного подонка. Как можно доверять таким, как он, воспитывать советских студентов и оценивать ихние знания?! Требую отстранить изменника от преподавательской работы.

Эдуард Бройлер, 2 октября 1969 г.

4.

Премьер-министру Израиля Леви Эшколю,
Генеральному Секретарю ООН У Тану,

Главам стран-членов Европейского Экономического Содружества,

Мировой общественности.

Вот уже почти год я лишен важнейшего человеческого права — права свободно выбирать место проживания, права жить на своей Исторической Родине, права воссоединиться со своим народом и со своими родственниками. Я обращаюсь ко всем, кому дороги идеи Свободы, Справедливости и Человеческого Достоинства, с просьбой помочь мне в моей борьбе за выезд из СССР, оказать влияние на советские "власти" и ихних чиновников.

Эдуард Бройлер, 30 марта 1971 г.

5.

Ректору Иерусалимского университета д-ру Ганеш-Сло-нимскому.

За время, которое я нахожусь в университете, я смог убедиться в неблагоприятной ситуации, сложившейся на отделении гуманитарных наук. Глава отделения, "профессор" Давид Пратман, убежденный христианин, по своим взглядам близкий к Организации Освобождения Палестины, проводит планомерную политику, направленную на подрыв национального самосознания у студентов. В частности, он отклонил предложенный мною курс лекций на русском языке для новых иммигрантов — о вторичности русской "культуры" по отношению к еврейскому духовному наследию. Зато на кафедре широко читаются различные "лекции" на темы германской "реформации", исламского "суфизма", индийских религиозных "трактатов" и ихних структурных особенностей, и прочие "темы", не имеющие никакого "отношения" к целям и задачам главного Университета в Еврейском Государстве. Подбор "профессоров" на этой "кафедре", многие из которых не являются даже гражданами Страны, тоже не случаен, и свидетельствует о намеренных попытках подыгрывать врагам Израиля в трудный для него момент.

Доктор исторических наук, профессор
Эдуард Бройлер. 19 сентября 1973 г.

5.

Премьер-министру Израиля Голде Меир,
Директору Сохнута Л.Куккишу,
Редакторам газет "Маарив", "Гаарец", "Га-гефила".

Дорогие друзья и соотечественники! Прошу вас обратить внимание на вопиющую несправедливость, совершенную по отношению ко мне со стороны "руководителей" Иерусалимского университета. Оклеветанный врагами нашего Народа и нашего Государства, я был изгнан с преподавательской должности, в нарушение главного принципа нашей страны — политики в отношении трудоустройства новых иммигрантов. Окопавшиеся в университете просоветские и проарабские элементы во главе с "ректором" И. Ганеш-Слонимским пошли на открытое нарушение закона только потому, что я отказался пресмыкаться перед ними, отказался следовать антиизраильской политике, целенаправленно насаждаемой в стенах университета. Меня лицемерно обвинили в "создании" нездоровой "атмосферы", в "склочничестве", в профессиональной "некомпетентности" только потому, что я не боялся говорить правду, что в своих лекциях я принципиально стоял на позициях сионизма и антикоммунизма, а это вызывало бешенство у московских чекистов и у ихних наемных агентов Ганеш-Слонимского, Пратмана, Дольского и иже с ними.

Доктор исторических наук, профессор
Эдуард Бройлер, 26 декабря 1973 г.

7.

В иммиграционный отдел Министерства внутренних дел Западной Германии.

Прошу предоставить мне и моей семье гражданство Западной Германии на основании Закона о принадлежности к Немецкой Культуре. Моя бабушка, Фаина фон Бройлер, урожденная фон Тузбубен, родилась и жила в Германии, являлась чистокровной лютеранкой, в совершенстве владела немецким языком. Мой отец, Леопард Бройлер, неоднократно бывал в Германии, в совершенстве владел немецким языком, сражался против фашизма во Второй Мировой войне, чем содействовал победе Христианской Демократии в Немецком Государстве. Я, являясь убежденным христианином-лютеранином, с детства впитал в себя немецкую Культуру, которой уделялось значительное внимание в моей семье. Читал многих немецких писателей-классиков, очень люблю ихние произведения. Владею немецким языком и продолжаю совершенствовать свои знания в нем.

Доктор Эдвард фон Бройлер,
10 января 1974 г.

8.

Генеральному секретарю ООН К. Вальдхайму,
Канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту,
Главам стран Свободного мира,
Редакциям газет "Ди Вельт", "Франкфуртер Альгемайне",
"Таймс", "Ле Монд", "Русская мысль", "Новое русское слово".
Редакциям журналов "Штерн", "Шпигель", "Континент".
А. Сахарову, З. Копелеву, Ж. Хазанову, Э. Уткинду,
Ы. Краснову-Левитину.

Вот уже в течение двух лет я с семьей живу в ФРГ, лишенный всех человеческих и гражданских прав. Причина — отказ чиновников ФРГ предоставить мне западногерманское гражданство, без чего нельзя получить постоянную работу в университете и нормально устроиться. Социалистические бюрократы немецкого иммиграционного департамента заявляют мне, что я якобы "не являюсь" политическим беженцем из СССР, поскольку имею израильское "гражданство". В действительности это "гражданство" было насильно навязано мне израильскими "властями", после того как они обманом и ложными посулами заманили меня на ихнюю историческую "родину", к которой я, русский интеллигент, впитавший христианские традиции и воспитанный на европейской культуре, не имею и не могу иметь никакого "отношения". Требую положить конец произволу бюрократии!

Д-р Эдвард Бройлер, 4 декабря 1978 г.

9.

Редакциям газет "Русская жизнь", "Русское дело", "Православная Русь".

Редакциям журналов "Монархический вестник", "Казачье слово", "За Веру, Царя и Отечество".

Всем русским патриотам-антикоммунистам.

Дорогие братья во Христе! Я обращаюсь к вам с просьбой — помочь мне в моей нелегкой судьбе. В июне 1971 года, после длительной и упорной борьбы с большевицкими властями, я выехал за пределы России с целью вести на Западе борьбу за свободу Родины, против безбожного коммунизма, исчадия дьявола. Но, к несчастью, в результате тайного сговора между бесами из КГБ и израильскими сионистами, — все антикоммунисты, выпускаемые за пределы России, насильно доставляют

ся в социалистический Израиль. Так, вопреки моей воле, я попал из лап коммунистического тоталитаризма в лапы не менее беспощадного сионистского тоталитаризма. Не сразу поняв сущность израильской диктатуры, казенного "патриотизма" и еврейского человеконенавистнического (в первую очередь — антирусского) шовинистического мракобесия, я пытался в своих лекциях, которые я недолгое время читал в университете, проповедовать идеи Христианского Гуманизма. За это, а также за мои статьи, за мою приверженность Православию и Русской Культуре, за мою любовь к России и за категорический отказ поливать грязью ее Прошлое и топтать ногами ее Христианские Традиции, за то, что я отверг приказание клеветать на Православие и на Русский Народ — я был изгнан из университета и оставлен без средств к существованию. Переехав в Германию, я поселился в Бад-Зодене, но и здесь не смог уйти от преследования сионистов — врагов России и Православия и ненавистников Господа нашего Иисуса Христа, — которые преследуют и травят мою семью. Оказывая грубый нажим на немецкие власти и пугая их жупелом "антисемитизма", сионисты вынуждают их отказывать мне в западногерманском гражданстве. Немецкие чиновники запуганы могущественной всемирной сионистской мафией, ибо известно, что иудеи легко могут обвинить любого немца в "нацистских" преступлениях. Я обращаюсь к истинным христианам всего мира: не позволяйте иудео-сионистам раздавить меня и мою семью, положите конец тихим убийствам, травле, расправам над инакомыслящими, посмевающимися говорить и писать правду о сионизме. Добейтесь от немецких властей, чтобы они перестали пресмыкаться перед сионистами, иудео-социалистами и ихними лакеями. Мир должен справиться с этим безбожным злом.

С любовью во Христе,
Эдуард Леопардович Бройлер, 9 марта 1983 г.

10.

М.С.Горбачеву.

В Президиум Верховного Совета СССР.

В советское посольство в Бонне.

А.Чаковскому, В.Коротичу, В.Солоухину, Э.Рязанову,
В.Астафьеву, Е.Евтушенко, С.Куняеву, Дм.Васильеву.

Дорогие Друзья! В 1971 году, в мрачный период застоя, я

оказался в Израиле, последовав туда за своим тяжело больным отцом, ныне покойным. А впоследствии переехал в ФРГ, не выдержав израильского маниакального антисоветизма и затхлого антикоммунизма. Мое пребывание на Западе — трагическая случайность, я никогда не переставал мечтать о возвращении в Россию. Именно поэтому я публично отказался в Израиле от навязанного мне ихнего "гражданства", и никогда не принял гражданство ФРГ, хоть это и мешало мне в моей жизни. Я являюсь сторонником гласности, перестройки, о которых всегда мечтал. Прошу разрешить мне вернуться в СССР. Я хочу жить по старому адресу, где проживал до отъезда (ул. Зоопарковая, дом 8, кв. 32), преподавать, как прежде, в университете истории Партии, быть полезным членом Советского Общества.

С глубоким уважением,
д-р Бройлер Эдуард, 12 января 1987 г.

11.

Открытое письмо Российской Политэмиграции.

Дорогие Друзья! Очень прошу опубликовать это письмо. Некто "Саша Арсантов" с единомышленниками не скупятся на бандитские угрозы в адрес моей семьи. Недавно "Саша Арсантов" опубликовал в "Панораме" фальшивку, в которой клеветнически "высмеивает" меня, обвиняя меня в "неискренности" моих политических заявлений против коммунизма, советской власти, за свободу России. В действительности "Саша Арсантов" и его хозяева на Лубянке мстят мне за то, что я последовательно выступаю против коммунистического тоталитаризма, против чекистского произвола. "Арсантов" мстит мне и за то, что я выступил за освобождение великого писателя России Лева Бородина, отца В.Русака, мстит и за то, что я требовал опубликовать в России произведения Солженицына, Буковского, Максимова, Войновича, Иловойской, Жирного. В своей фальшивке "Саша Арсантов" по прямой указке КГБ бессовестно шельмовал меня и мою семью, фабрикуя обвинения в сталинском духе. Получалось, будто я собрался возвращаться в Россию только ради какой-то "материальной" выгоды, — так внушал "Саша Арсантов" своим "читателям". Он так обкорнал мое заявление советским властям, что исчезло самое главное: требование освободить и реабилитировать политзаключенных

(это было главным условием моего возвращения, поставленное мною советским властям, но советские чиновники так и не ответили: вероятно, ихнее руководство внимательно прислушивается к советам и рекомендациям "Арсантова"). А теперь я и моя семья получили, наконец, гражданство ФРГ, и мы не намерены возвращаться в СССР. Но и сейчас я вынужден беспокоиться о защите семьи от бандитских угроз советских агентов — "Арсантовых", которые ведут систематическую травлю антикоммунистов. Это наносит удар по переменам, которые наблюдаются сейчас в России. Обуздайте бандитов!

Д-р Эдуард Бройлер, 30 августа 1989 г.

Продолжение следует?



HERMITAGE

ЭРМИТАЖ — Publishers of New Russian Books

P.O. Box 410, Tenafly, New Jersey 07670, U.S.A.

Tel. (201) 894-8247

Полторацкий Н. П. «Иван Александр. Ильин». (320 с.)	17.00
Поповский Марк. «Дело академика Вавилова». (280 с.)	10.00
Поэтика Иосифа Бродского. (Статьи, ред. Л. Лосев)	12.00
Ратушинская Ирина. «Сказка о трех головах». (Расс.)	7.50
Ратушинская Ирина. Стихи. (На русс., англ., фран.)	8.50
Рачко Марина. «Через не могу». (Повесть, 100 с.)	6.50
Россия глазами женщин. (Лит. антология, 190 с.)	8.50
Свирский Г. «Прощание с Россией». (160 с.)	8.50
Сулов Илья. «Рассказы о тов. Сталине»	7.50
Телесин Ю. «1001 советский полит. анекдот»	10.00
Троцкий Лев. «Дневники и письма» (304 с.)	14.00
Шварц А. «Жизнь и смерть Михаила Булгакова»	12.00
Шляпентох В. «Открывая Америку» (200 с., иллюстр.)	9.00
Шульман С. «Иноплянетяне над Россией»	10.00
Штерн Людмила. «Под знаком четырех»	8.50
Эткинд Ефим. «Стихи и люди». (160 с.)	9.00

Заказы и чеки отправлять по адресу: Hermitage, P.O.Box 410 Tenafly, N.J. 07670, USA.

К стоимости заказа добавьте 2.00 дол. на пересылку (независимо от числа зак. книг). При покупке 3-х и более книг скидка 20%.

здесь, в Париже, — спросила я. —
или вернетесь в Москву?
Увы — многие радикальные при-

А. ЛАТЫНИНА

Получается, что та злополучная
эмиграция, натиская в голодную, ре-
зорную войной Россию, была все-

Когда поднялся Железный занавес..

Можно увести в эмиграцию язык, культуру, память.

Но история России происходит в России.

языки, несущиеся с эмигрантской сто-
роны, можно объяснить этой воспиты-
тельной готовностью перемести наши
лишния...

Но о Владимире Буковском никак
не скажешь, что он не продемонстриро-
вал своей собственной жизнью го-
товности к жертве: героическое про-
тивостояние режиму, тюрьмы, голо-
довки, лагеря.

Однако ж героям, подвижничеству
— все это способ самореализации
личности. Человеческая жертва дол-
жна браться. И никто не имеет права
требовать жертвы от другого. Так...

— выяснилось и тому же, что течеше-
ного не представляет. «Демсоюз» с
его тоскливой большевистской фре-
гологией и истеричными лидерами, с
осточертевшей тактикой «партия но-
вого типа», пресирающей всякую па-
риетную деятельность. «Выборы»,
«законы», мы всерьез не призна-
ем. Отчужденный радикализм как
левый, так и правый толка нас ре-
дрожает. И посещающие же страну
эмигранты бросаются, как и орану,
с простодушным вопросом: «Что
делать?» — а получают озадачивающие
ответы, отходя в сторону глаза...

таки идейной эмиграцией. Да, бе-
лосневная, оппозиционная, не уме-
ющая ценить традицию, не знающая
нужд народа, она проинтерговала
пробалаболала с февраля по октя-
более того — толпула? страну к
тябрью, не понимая, что сама
дрожает в замкнутом сво окне. Да
судить сегодня? А нынешняя?
...В парижской студии радио «
бода» умная, острая журналистка
тала меня: «Ну почему,
вы думаете, никто из эмигрантов
возвращается? Ваш друг, — она

Все можно увести! Все,
кроме одного — истории. История
России будет свершаться в России.

Поднялся Железный занавес, —
и оказалось, что мы разделены
на участников истории и зрителей.

М. Розанова

ЗВЕЗДА НАД СХВАТКОЙ

Эмиграция — это капля крови нации,
взятая на анализ.

М. Розанова

Взахлеб читала я статью Аллы Латыниной и радовалась:
до чего же она права! Ведь сколько раз я сама декламировала
на синтаксической кухне и всех общественных перекрестках,
что любой эмигрантский городской сумасшедший, которого у
нас на страницы ни одной газеты не пустят, в столице нашей об-

Наши аплодисменты слушали благосклонно и даже охотно наезжали за ними, а вот от предложений баллотироваться во всякие там новорожденные парламенты и издавать не там, а здесь независимые газеты и журналы отказывались.

щей родины — как король на именинах: и вхож, и печатается, и советы раздает, и Россию обустроивает...

Но при втором чтении призадумалась, а на третьем уже захотелось взвыть голосом человеческим: "Братцы! Нас, кажется, опять шельмуют!" И шельмуют нас, как маленьких, способом самым простым: сначала предлагают связку гадостных примеров, а затем — достаточно произвольный вывод. Статья написана по схеме старого анекдота: разговор в профкоме: "Иванов, ты теплую водку любишь?" "Конечно нет!" "А потную бабу?" "Фу, гадость!" "Вот и хорошо: пойдешь в отпуск в декабре".

Действительно, приводимые Латыниной цитаты из разных

лимоновских статей ужасны, но почему она рассматривает Лимонова как зеркало русской эмиграции? Это приблизительно так, как если бы мы судили об умонастроении российской интеллигенции исключительно по Карему Рашу или Куняеву и, размахивая "Литературной Россией" и "Нашим современником", резко заявляли бы, что все вы такие.

Латынина выбирает основным аргументом своей статьи Лимонова, будто бы не знает, что Лимонов — эмигрантский изгой, что в эмиграции давно уже дебатировалось: не пора ли учредить министерство по уничтожению Лимонова (это дословно!), что Лимонов из эмиграции давным-давно эмигрировал в собственное "я", что Лимонов сегодня уже не эмигрантский писатель, а очень известный западный автор, который оригиналы своих произведений почему-то пишет по-русски (недаром по-русски у Лимонова издано 6 книг, а по-французски — 12, не считая массы статей в левой французской прессе), и что ни один эмигрантский орган не откроет свои страницы лимоновской публицистике.

Лимонов очень давно в контрах с эмиграцией, он ее не любит, она ему не нравится, но *вас* он тоже не любит и с большим удовольствием доводит вас до истерики, дразнит и насмеяется, размахивая перед вами то одной, то другой красной тряпкой, с которой вы на полном серьезе начинаете сражаться. Я хорошо представляю, как он веселился, когда на очередной его анфантереблик вынул свое благородное перо сам Нуйкин и вышел на эту корриду. В то время, как вся лимоновская газетная деятельность всего лучше укладывается в известную частушку: "Мимо тещино дома я без шуток не хожу..." — далее следует перечень неординарных поступков.

Лимонов вас проводит по рангу тещи, а вы его держите на уровне врага народа. (Тем временем рядом есть лимоновский "Эдичка", где Латынина видит сплошной генитальный пейзаж, а для меня это очень грустная история о любви и одиночестве. Чистая "Манон Леско" на языке нашего века...)

Алла Латынина предъявила эмиграции чудовищное обвинение: "мы, оставшиеся, хотим успеха всем этим реформам и чтоб злополучный занавес сгинул навек. Они, уехавшие, (...) хотят, чтобы реформы провалились к чертовой матери, а занавес соткался бы вновь". Исключение она делает только для нескольких своих православных друзей, с "трогательным сочув-

ствием наблюдавшими за нами”, которые в обход поста кормили ее салатом с креветками. Ну, во-первых, креветки всегда были принадлежностью рыбного ряда и, соответственно, постного стола, а во-вторых, с чего это Латынина взяла, что все оставшиеся в стране так уж хотят победы реформам? Сколько у вас сторонников Нины Андреевой? А Василия Белова? Сколько у вас радикалов порадикальнее Буковского? А диссиденты? Может быть, Алла Латынина не знает, что ваши диссиденты тоже разделились: сидельцы Сергей Ковалев и Лариса Богораз, например, за реформы, а Александр Подрабинек (бывший политзаключенный и тоже мужественный человек) против?

Я ни в коем случае не хочу сказать: “сама дура”, но если в метрополии сегодня обнаруживается широчайший спектр умонастроений, то почему бы эмиграции тоже не быть разной — правой, левой, зеленой, розовой, умной, глупой и какой угодно? И железный занавес не только что поднялся: эмиграция и метрополия уже давно, лет двадцать наверное, обходят этот предмет, и живут и функционируют как сообщающиеся сосуды. Разве стоял когда-нибудь железный занавес между Павлом Литвиновым и Ларисой Богораз, между Солженицыным и Шафаревичем, между Синявским и Даниэлем, между Олегом Красовским (редактором журнала “Вече”) и Ильей Глазуновым? И разве ваши политические полемики не были многократно отрепетированы эмиграцией? “Мы одной крови — вы и я”, и каждому из вас, хотите вы того или нет, есть свой эмигрантский аналог. Но, кстати, один из негативных эффектов латынинской статьи то, что, написанная в стиле “мы и вы”, она возрождает дихотомическую интонацию старых времен, а это, я думаю, мало способствует любви и дружбе.

Но если эмиграция — это клубок весьма разнообразных взглядов, интересов, занятий, то почему Алла Латынина работает исключительно на отрицательном примере и в упор не хочет видеть сторонников и помощников перестройки? Откуда такая несбалансированность у критика, так долго занимавшего гордую (хотя и несколько двусмысленную) позицию “звезды над схваткой”? Почему она не захотела вспомнить правозащитника Валерия Чалидзе, одно время он печатался в “Московских новостях”; не обратила внимания на интервью правозащитника же Павла Литвинова в “Вечорке”; не заметила блестящего советолога Ю.Вишневецкой, которая много лет анализирует со-

ветскую ситуацию для американских политиков, но кое-какие статьи достаются и журналу "Синтаксис"; не пожелала услышать легендарного адвоката Дину Каминскую, скрупулезно вникающую во все нюансы сегодняшнего законодательства? А разве Вайль и Генис не сторонники реформ? А редактор журнала "Страна и мир" Кронид Любарский? Почему замечательный когда-то литературный критик Латынина не затруднилась сегодня изучить материю, о которой рассуждает, и выносит на страницы "Литературки" эту неквалифицированную вселенскую смазь? А ведь ей слегка подучиться намного легче чем большинству ее читателей: она и по заграницам ездит, со множеством эмигрантов в отношениях, да и эмигрантская пресса ей достаточно доступна: например, парижскую "Русскую мысль" она не только читает, но даже в ней печатается.

Кстати, попутный вопрос, а почему Латынина выбрала газетой-побратимом для своих статей именно "Р.М."? Ведь именно в этой газете собирается все то, против чего она ратует: и недоверие, и нежелание, и поиски КГБшной тени за всем, что происходит в отечестве. Ах, да, там друзья, там "ночные звонки Москва-Париж" и "неперестающая удивлять душевная щедрость". И мы опять возвращаемся к Платону, который мне друг, а истина, как говорят в русском народе — она амбивалентна...

А один из сюжетов латынинской статьи озадачивает некоторой непристойностью. Это — возвращение на родину... "Никто не вернулся", — горестно всхлипывает Латынина — "Иные из нас стали испытывать чувство некоторого конфуза. Как же так?" Но когда кто-то приехал, то по Латыниной — только за аплодисментами. А если кто-то сделал шаг домой и завел московскую крышу, то наша критикесса эмигрантских нравов осудила его ехидной ремаркой: "не расставаясь, естественно, с зарубежным гражданством". Откуда у вольной птицы из духовной внутренней эмиграции такое реликтовое прописочное мышление? Я помню, как незабвенный товарищ Сталин запретил браки советских граждан с иностранцами (мол де, хочешь жениться — меняй гражданство, бери советское), я на собственном опыте знаю, как уже сегодня советская власть не признавала мое двойное гражданство, но чтобы на языке районной милиции заговорили со страниц "Литературки" — это что-то новенькое на нашем интеллектуальном рынке.

И тут же весьма странное противопоставление диссидентской эмиграции — эмиграции революционной, которая, видите ли, была более идейная и поэтому вернулась. Будто Латынина в школе не училась, "Красного колеса" не читала и не знает, что у революционеров была та великая цель, которую диссиденты перед собой никогда не ставили: они не боролись за власть, не баловались экзами, не занимались террором, не звали Русь к топору, и не помышляли о создании идеократического государства.

Я согласна с Латыниной в оценке советов русскому народу Буковского, но... разве он со своими советами напрашивался? Его пригласили — он приехал. Никаких условий не ставил, миллионных тиражей, чтобы всяк сущий в ней язык его сочинения читал — не требовал, а спросили — ответил. Советы его безответственные, рекомендации — рискованные, но чем они хуже указаний Александра Исаевича про обустройку? Ведь если эмигрант Буковский может привести страну к дальнейшей дестабилизации, еще большей разрухе и гражданской войне, то эмигрант Солженицын, с предложенной им системой выборов, приводит страну прямо в объятия секретарей обкомов и товарища Полозкова. С той только разницей, что Буковский разговаривает на московской земле, а Солженицын в отечество не торопится, и городит условие на условие, а вот приехать, посмотреть, с другом Шафаревичем обняться — так ни за что, хотя, кажется, все его причуды выполнены. А если мы о Солженицыне вспомнили, то не худо заметить, что все латынинские претензии к эмиграции всего естественнее было бы обратить к эмигранту (ах, простите, изгнаннику) №1. И очень печально, что Алла Латынина сегодня разделила эмигрантский мир на "своих" и "чужих", где свои во всем правы, а чужие во всем виноваты или, как сказал когда-то юный Пушкин:

В чужой п... соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна.

А теперь о Пушкине. В конце 1937 года в "Литературке" было объявлено, что Павел Антокольский "закончил новую книгу стихов "Пушкинский год". В книге будут напечатаны написанные в этом году стихи". Год был, действительно пушкинский — по количеству торжественных заседаний, памятников, музеев и прекраснейших книг. Но как кошунственно звучит

эта не вся правда о 37-ом — "Пушкинский год"!..

Я вспомнила Павла Антокольского потому, что все, что написано в статье Аллы Латыниной — правда. И все, что написано в этой статье — ложь. Причем в ее худшей разновидности — лукавой полуправды.

P. S.

Ответ Алле Латыниной писался по горячим следам, в некотором сокращении был отправлен в "Литературку", где и появился благополучно среди других "про" и "контр" откликов. Можно было бы забыть эту полемику: мало ли неудач бывает у пишущего человека — вот Александр Исаевич целых восемь тысяч страниц "Чортова колеса" написал в явном провале, но мы же его любим не только за это... не появись в той же "ЛГ" дурных латынинских намеков, что неведомая нам ее оппонентка — продажна. Пахнуло чем-то таким знакомым, столько раз слышанным, что стало ясно — до мира под оливами еще очень далеко. А так как публицистика Латыниной частенько измеряется той же валютой, а почтительно присогнутую в сторону нового нашего идеологического ЦК спину мы обнаруживаем почти во всех ее статьях, то как не вернуться к приведенной выше пушкинской цитате и не воскликнуть почтительно: "Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!"

Алла ЛАТЫНИНА

Моя корысть — выпрямленная спина

Но когда я слышу на знакомой радиоволне голос поэтессы, надрывно порицающей Латынину за недостаточную почтительность по отношению к эмиграции, я испытываю скорее сострадание, чем раздражение. Потому что вижу, как из натужных и надрывных восклицаний, лишенных убедительности, возникает некое подобие вопросительного знака, напоминающего согнутую спину.

Ведь мой оппонент, обвиняющий меня в «недостойных» играх, в глубине души не может не понимать, кто из нас двоих принимает участие в чужой игре, где выигрыш дается в форме валютного гонорара и зарубежной поездке, а кто — отказался играть.

Игорь Ефимов

В ЗАЩИТУ ВЛАДИМИРА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА

Владимир Емельянович Максимов — добрейший человек. Я всегда это говорил. Даже ему в письме однажды написал. "С Вами, Владимир Емельянович, — написал я, — спорить совершенно невозможно. Вы у нас — как без кожи. Вам возрази — Вы тут же под потолок". Такой человек. Нежнейшее сердце, добрейшая душа.

Но очень страшно за него. Потому что врагов у него — полчища. У нас ведь доброту никому не прощают. Вот и сейчас, сижу и думаю: ну что враги с ним сделают за его последнее открытое письмо? Хотя дело-то, казалось бы, святое — не придерешься. Обратился наш Владимир Емельянович к своему новому другу, начальнику нашей новой тайной полиции, с просьбой: опубликовать списки всех стукачей, которые нас всю жизнь так мучили. Кто посмеет спорить, кто решится стукачей защищать? Только сами же стукачи — больше некому.

Но нет! Предчувствую, что найдутся гнилые плюралисты! И аргументы какие-нибудь выкопают с заковыкой! И накинута на нашего доброхота, капая с клыков своей ядовитой либеральной слюной.

Сначала выполнят чадолюбцы. "Как же это, скажут, списки публиковать? Да, может, там половина уже перемерла? Может, только детки да вдовы остались? Может, им не сладко

Открытое письмо В. Максимова В. Бакатину см. в разделе "Туретчина"

придется, если мужа-папашку покойного ославят?” Отбрейте их покрепче, Владимир Емельянович, сдержите свою доброту. Нечего было со стуачами жисть проводить, когда кругом столько честных диссидентов бродило! А не сладко придется — пусть отрекутся публично, как отрекались родственники от врагов народа.

Потом начнут подкуп законники-крючкотворы, полезут презумпцию свою под нос совать. “Как же это, зашипят, публиковать списки? Да кто их проверит теперь? Да, может, гебисты для отчетности понаписали нас всех как завербованных, а мы им никогда, ни словечком, ни про кого?” И этих тоже гоните с порога. Если где и был у нас порядок, то уж там, в центре нашего советского мироздания. Недаром народ наш с таким даже трепетом говаривал: “ТАМ РАЗБЕРУТСЯ”.

Но хуже всего будет, когда начнут нашему Владимиру Емельяновичу на шею исторические аналогии накидывать. Вспомнят, например, ни к селу ни к городу, как царская охранка революционеров до самоубийства доводила: пустит слух, что осведомитель, — и конец человеку. Или как большевики всех гребли по классовому признаку. А надоели им одесские бандиты (тоже ведь очень плохие люди были), так просто покидали всех в грузовики по списку и расстреляли за городом. Или как Муссолини всех мафиозников за решетку без суда покидал. Или как американцы всех своих япошек в начале войны засунули в лагеря за одну только их желторьлость и косоглазость.

Скажешь таким: «Да что же вы врете всё? Да кого же Владимир Емельянович хочет сажать или расстреливать? Пишет ведь черным по белому, Господа призвав в свидетели: “Не призываю ни к мести, ни к расправе с этими людьми, пусть живут, как жили (если смогут!)”». «Вот-вот, — зашипят в ответ безжалостно исторические, — так и нацисты говаривали: “Ни мести, ни расправы — пусть живут, только пусть его издалека с желтой звездой будет видно”».

Ну, а потом поднимут головку горе-психологи. Эти уже до того договариваются, что якобы ни в каких стукачах для арестов наши органы не нуждались. Что при Сталине опустят бывало задержанному ноги в кипяток и любой список имен из него получают — знай только примус под ведром подкачивай. А в последние сорок лет брали по разнарядке и тоже стукачей не

больно слушали. Работали же со стукачами упорно так лишь для того, чтобы сеять, мол, в нас злобу, недоверие и подозрительность. Чтобы нас самих в преступления замешать и этим преступлением к себе привязать. Кого открыто, на собраниях путем поднимания рук и участия в массовых осуждениях, кого — тайно в кабинетах, через взятие подписки. И чем больше в нас злобы и подозрительности осталось, тем больше значит их успех и победа, и тем страшнее наши души изуродованы. А если нам стукачи даже на Западе мерещатся, то нам мол лечиться надо.

И напоследок навалются злопамятные. Эти до того же уже в своем цинизме погрязли, что даже очищение нравственной атмосферы страны, к которому призвал нас Владимир Емельянович, на свой лад переинчат. "Вы бы, скажут, если нравственность хотите поднять, взяли бы да и извинились хоть перед одним из тех, кого вы носорогом ошельмовали, когда люди и ответить-то вам не могли".

Ну, вот здесь уже надо провести черту. Не спустите, Владимир Емельяныч, расширьте носорожий список! Есть же пределы доброте человеческой! Хватит вам всё иносказаниями: "Один так называемый профессор, одной так называемой Сорбонны..." Пора назвать поименно! У вас ведь свой список есть, тоже небось некороткий. Пусть его ваш новый друг тоже опубликует как приложение.

А то знаете, как эти злыдни уже старый анекдот переделали? Вот так:

"Армянское радио спрашивают: Возможно ли возрождение коммунистической деспотии и Архипелага ГУЛага?"

Отвечаем: возрождение невозможно, но будет такая борьба за восстановление антикоммунистической справедливости, что старого ГУЛага не хватит".



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Председателя Комитета государственной
безопасности СССР В.В.Бахатику

Иногоуважаемый Вахики Викторович!

Прежде всего хочу поздравить Вас с назначением на столь важный и ответственный пост. В связи с этим, была встреча весной этого года в Москве, оставшаяся, кстати сказать, по Вашей инициативе и ^{отложившая} мне самое отрицательное впечатление, тем более укрепляет меня в том, что именно такой человек, как Вы способен коренным образом преобразовать советскую карательную машину в нормальную конституционную организацию. И я желаю Вам на этом обретающем пути максимально полного успеха.

Могу представить, как много самых неотложных проблем приходится решать Вам в эти дни, но, тем не менее считаю, что одной из самых неотложных из них является сегодня проблема, если так можно выразиться, Института стукачей вот уже более семидесяти лет существующем при ^{то} карательных ^{собственных} органах. Гораздо легче передать пограничные войска в систему Министерства обороны, чем избавиться от этого отвратительного порождения нашего прошлого.

Мы уже знаем примерное количество прямых жертв террористической системы, об этом говорится лишь возмущающе, но кто подсчитал или когда-нибудь подсчитает число жертв косвенных - сломанных судеб, исковерканных жизней, растоптанных душ, лезащих на совесть неисчислимой армии секретных осведомителей, и за страх, и за совесть служивших возглавляемой Вами сегодня организации.

Если говорить о своем горьком опыте, то, смею утверждать, что по меньшей мере половина сознательной жизни, прожитой мною, как на родине, так и в эми

границ отнята и растоптана у меня этой мерзопакостной публикой. Что уж го-
ворить о тех, кто не выдержал удручающих объятий ~~бл~~ паутины, ~~бл~~ травки, инси-
туаций, дезинформации, сдался и погнб профессионально, интеллектуально, гра-
ждански, человечески, а поров и просто физически!

В эмиграции, в примеру, они проникли всюду - в газеты, журналы, на радио,
в университетские и политические круги ^{Запада!}, разлагая окружающую ~~себя~~ ^{себя} дождем,

- 2 -

клеветой и различного рода инспирациями. Думаю, куда разрушительнее ~~ее~~ ^{ее} де-
тельность сказывается на родине.

Мне кажется, многоуважаемый Владимир Викторович, пришла пора обнародовать
списки секретных сотрудников КГБ по обе стороны границы, во всяком случае,
хотя бы списки наиболее опасных и активных среди них. Разумеется, обоснова-
вав эти публикации предельно убедительными доказательствами.

Убежден, что подобного рода акция очистила бы нравственную атмосферу
страны и способствовала бы подлинному обновлению нашего общества.

Упась Боже, я не призываю их к мести, ни к расправе с этими людьми, пусть
они живут, как жили/если смогут!/ и работают там, где работают/если заслу-
живают того!/, А только хочу, чтобы их назвали поименно:

- Страна должна наконец знать своих стукачей!

С самым искренним уважением

Владимир Максимов

26.8.91.

Туретчина... Эмигрантский плен... Со своими князьями. Со своим
Парижским обкомом. Со своим Вермонтским ЦК... Но и со своим со-
противлением, со своим самиздатским архивом, с горой писем, которы-
ми официальные эмигрантские деятели (редакторы, члены редколлегий
и предводители ватаг) обменивались на протяжении этих лет... А рядом
- материалы из старых эмигрантских газет и журналов, - превосходные
и, увы, малоизвестные источники кое-какого познания. Много лет соби-
рался в "Синтаксисе" этот архив, частенько я подумывала - а не пора ли
начать его публикацию и все откладывала, не решалась: ну как сказать
московскому самоприемцу в НТС: камо грядеши? Как рассказать ему,
что мы про эту организацию думаем и какие удивительные бумаги хра-
ним? Сендерова (например) с одного захода не переубедем, а обложив-
шему его со всех сторон КГБ подбросим жирный кусок для дальнейших
шантажей и давлений. Сегодня - проще. КГБ, как утверждают заезжие

столичные гости, больше нет, никто никого арестовывать по политическим мотивам не собирается, диссиденты (В.Буковский) и писатели (В.Максимов) во всю братаются с благородным главой сегодняшней Государственной Безопасности В.Бакатиным, еще чуть-чуть и созреют очередные стихи: "Пей, товарищ Орлов, председатель ЧК..." и нас опять понесет по этому кругу, по этой снежной спирали.

Все было... Новое — это просто хорошо забытое старое, и можем ли мы бросить камень в Багрицкого или Бабеля, или даже в самого Алексея Максимовича, если при первой возможности мы рванулись в эти полусекретные объятия, по-панниковски приговаривая: дай миллион, дай миллион...

Хватаюсь за соломинку, за любимого своего героя, любимого за основательность и что крестьяне у него были сыты, за Собакевича с его четким нравственным посылом и практическим руководством: "Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот..."

А прочие эмигрантские заведения? Ведь любой журнал, любая газета состоит не только из того, что она печатает, но и из того, что она *отказывается* предать гласности. И вот вам обычная картина нашей туретчины: звонит один политэмигрант другому — из Парижа в Кельн, из Вашингтона в Мюнхен или из Лондона в Нью-Йорк — все равно, и говорит: послушай, имя-рек, что я написал в ответ на публикацию "Узкой мысли". Имя-рек, прослушав, интересуется: когда будет напечатано? "А никогда!" саркастически смеется автор, они мне уже отказали. За 20 лет накопились целые папки этих загнанных в аккуратные машинописные строчки страстей, попыток выявить разногласия, найти общий язык и спасти родину.

Заезжие из метрополии друзья и недруги, до которых наши беды доходили смутным эхом, называя наши страдания "вашими эмигрантскими дрызгами", недоумевали: "И чего вы там не поделили: ведь врагито у вас общее..." Мы как могли работали устной газетой, читая гостям те или иные документы эмиграции, но только теперь, когда метрополия почти зеркально повторяет наши различия, у нас есть достойный трамвайный ответ: от таких же слышим.

Ибо аналогичные вещи происходят сегодня в стране — всё, победили, сломали хребет партии, разбили вывеску на Лубянке — снесли к чертовой матери Дзержинского — и демократы тут же перегрызлись почище эмигрантов: ставки потому что выше, не жалкую американскую подачку делая, отгалкивая друг друга, побирушки, от вождя корыта, а самое что ни на есть партийное имущество — несчастную, богатейшую, хотя и разоренную страну.

Теперь наши друзья, кажется, начинают понимать, что общий враг еще не означает общего дела и что объединяемся мы не только по признаку общей войны, а вокруг созидания. И разделяемся точно так же.

И вот эта проблема — что же мы хотим построить, и как это сделать разделила в эмиграции Павла Литвинова и Алика Гинзбурга, Андрея Снявского и Александра Солженицына. Вдруг выяснилось, что враг у нас был общий, а вот идеалы (высоким слогом), задачи — разные.

И когда мы, эмигранты, ушли от общего врага — и сегодняшний день больше гибелью не грозит — начался обвал...

М.Р.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. СОЛЖЕНИЦЫНУ

Многоуважаемый Александр Исаевич!

Не стал бы я блажить и беспокоить Вас письмами, отрывая от работы, когда б не опасение, которое возбуждают некоторые Ваши речи и статьи, публикуемые последнее время на Западе. Вопрос не в том, что я расхожусь с Вами по каким-то пунктам, или хотел бы оспорить Ваши взгляды и мнения. Положение мое печальнее. Потому что многое из того, что Вы пишете и говорите, наследуя традицию русской религиозно-философской мысли начала XX-го века ("Вехи", Бердяев, Булгаков, сборник "Из глубины" и другие глубокие и высокие книги о России, о Русской идее), сам я разделяю, как и Ваше противостояние Архипелагу Гулагу. Но меня, извините, удивляют и приводят в оторопь Ваши авторитарный тон, высокомерие, нетерпимость, которые все более и более сквозят в Ваших выступлениях. Вы перенимаете обличие и манеры нового духовного деспота, капризного временщика, от которых все мы так много натерпелись. И это тем несчастнее и бессмысленнее, что в Вашем лице Россия, признанным символом которой — в ее земляной и идейной правде — Вы являетесь, вновь кажется миру (в который раз?) свой искаженный образ.

Знаю (по Вашим выступлениям), что Вы сами опечалены, что Ваши слова и мысли перевирают, путают, дают им неточное и неполное истолкование многочисленные корреспонденты, комментаторы и репортеры, представляя Вас в ложном роде какого-то националиста, изоляциониста, ретрограда, юдофоба и сторонника новой, всероссийской диктатуры, династии и т.п. Ничего *такого* из логики Ваших слов вывести невозможно, или — почти невозможно. Вы — противник насилия, Вы —

сторонник свободы, и на авторитарный строй Вы согласны применительно к уровню и необразованности вождей (которые все же — “вожди”!) и реальной ситуации в нынешней России. Дай ей хоть чорт авторитарный строй!

Но *тон* Ваших слов — пророка и моралиста, Ваши склонность и талант учить всех и каждого, как подобает жить, беря с Вас пример, независимо от логики, от смысла, — окрашивают Ваши слова в привычную стилистику нетерпимости и фанатизма. Авторитарен не строй, который Вы мыслите насадить в России. Авторитарны Вы сами — как стимул, как личность, поучающая единицы, народы и государства, и, приложившись к таинству христианского покаяния, требующая с гневом, чтобы следом за Вами и все прочие спаслись и повинились — мадьяры, латыши и евреи, запачканные в грехе. Но, вероятно, покаяние не может быть спущено сверху, от человека, пускай праведного и высокого, в виде директивы, а ждет живых и естественных, идущих у каждого из глубины сердца, многострадальных устремлений. И давить тут не надо. И то, что Вы предписываете человечеству в виде диктата, исходя из своего достоинства (я покался — а они не покались; я живу не по лжи — а они не желают), — невыносимо, невыносимо для человеческой души, доколе она живет и бродит еще сама по себе, а не следует Вашим высоким авторитетам. Отказавшись от насилия, Вы совершаете насилие над духом и потому Ваши важные по смыслу слова отдают вкусом ненависти человека к человеку.

Это больно видеть, этим тяжело дышать, тем более, что самое последнее, интимное, что осталось в душе у нас, у русских, жаждущей добра, покаяния, чистоты жизни, Вы вульгаризируете, выволакиваете на базар остракизма и ригоризма, влечением нравственного и религиозного приоритета, наставничеством, вождизмом, нотациями, от которых нас уже отучили и Ленин, и Сталин. Мы не верим пророкам, Александр Исавич. Да будь Вы Лев Толстой — лучше лечь на месте, чем поддаться очередному обману...

Знаете ли Вы, что в “русском зарубежье” продаются иконы Спаса и Пресвятой Богородицы — самые чтимые на Руси иконы — с Вашей подписью на обороте, вторгающейся словами: “На хребте славы земной...” Это Вы — про себя так решились?... Надеюсь, Вы об этом не знаете, не помните. Иначе — как об этом сказать печатными словами? — Вы метите в Угодники,

которые и то были не на "хребте" (тем более — земной славы), произнося молитвы, всем, быть может, и во спасение, но Вам, простите меня, в соблазн и в профанацию...

Сейчас Вы травите третью эмиграцию за то, что ее не выдворили, как Вас, в почетном карауле, а она *сама* уехала. Не каждому дано, не всем удастся. Вы встали в позицию второй таможни, второго (христианского — и тем паче, тем больнее) ОВИРа, читающего в сердцах беглецов, почему, по какой-то внутренней причине, они уезжают, и разрешающего (авторитетно) покинуть отечество только тем, кто его не приемлет, не любит, кому Россия чужая и кто этим шагом навсегда отчуждается от России и от русской культуры. Вы встали в позу духовного жандарма, Александр Исаевич. Вы не разрешаете печататься под псевдонимами — за исключением Ваших доверенных и санкционированных Вами лиц. Инакомыслие — на сей раз с Вами — приравнивается к подонкам, к ненавистникам своей родины, к агентам КГБ. Еще немного и пойдет: "враг народа".

Но ведь люди хотят быть свободными. Каждый — по-своему, без Вашей указки. И не Вам, старому лагернику, зачислять "еретиков" в ненавистники России, во враги, и под новым соусом повторять старую погудку:

"И тот, кто сегодня поет не с нами, тот — против нас..."

За Вами, Вы сами знаете, идут многие, идет чуть ли не вся мыслящая Россия. И одновременно — немыслящая, та, что переложит Ваши песни на *свой* стоеросовый гимн, исходя не из смысла, а из тона Ваших реляций... То-то мы будем подпрыгивать в гробу (как теперь, наверное, подпрыгивает Чернышевский)...

Едва вылупившись, Вы грозите людям, которые и раньше Вас и точнее Вас жили "не по лжи", — отлучением. Вы хотите размежеваться, для того чтобы все объединились на Вашей (а было еще недавно — на ленинской) линии. Ну а Белинков, а Бродский, ну а Бунин и Замятин? Или — кому-то можно, а кому-то — нельзя? Тысячи бежавших из России — верны России. Потому и бежали, что — верны. И устраивать "фильтры", "чистки", просмотры, допросы — кто как бежал? Простите, но Вы повторяете Ваших оппонентов, тех, кто воспользовавшись вырванными словами из Ваших фраз, Вас зачислял во "власовцы". Вы своим непререкаемым, офицерским тоном и гоно-

ром, Вы своими анафемствованиями воспроизводите в зачаточном виде образ советской власти. А нам ее и так хватает.

Мне очень тяжело писать это письмо. Опять Запад скажет: ну снова эти русские, как всегда, передрались. И пора взять власть в руки надежным большевикам. Все спокойнее.

Я не против Вас выступаю. Я против — Ваших замашек на "большевизм", на "ЦК", на будущую цензуру, на Ваше право решать, кто "чистый", а кто "нечистый". Даже Вам, извините, нельзя позволить покушения на только-только оживающие тело и душу России. Слишком все это большой кровью покупалось — мыслить и говорить, как мы хотим, без оглядок на начальство. Я к Вам обращаюсь не как писатель (?) к писателю, но как лагерник — к лагернику. Сколько мы будем еще "изпод глыб" давить друг друга — изгонять и изолировать? Не доволно ли с нас наших старых тюрем, Александр Исаевич?

Преданный Вашему "Архипелагу Гулагу" и Вашему "Ивану Денисовичу" —

А.Синявский.

12 января 1975 г.

СПРАВКА

Это письмо было написано под впечатлением первых публицистических шагов А.Солженицына на Западе.

"Открытое письмо" читал случившийся тогда в Париже отец Александр Шмеман, который посоветовал автору заострить некоторые формулировки и благословил немедленную публикацию.

А.Синявский, сотрудничавший тогда в "Континенте", принес письмо в "свой" журнал. В.Максимов, согласившись с письмом по существу и сказав, что он еще и не то мог бы добавить, печатать письмо воздержался, мотивируя отказ слабостью и недостаточной еще устойчивостью журнала (готовился к печати второй номер). "Вот встанем как следует на ноги, тогда..."

Не удалось "пробить" этот текст и в "Русскую мысль". Это была первая наша эмигрантская оскомина — вкус цензуры и родного советского слова "пробить"...

М.Р.

ПИСЬМО А.СОЛЖЕНИЦЫНА ПРЕЗИДЕНТУ США Р.РЕЙГАНУ

11 мая 1982 года в Белом Доме проходила встреча Президента США Рональда Рейгана с представителями различных течений советской оппозиции. Среди приглашенных был и автор "Архипелага ГУЛАГ" Александр Исаевич Солженицын. Солженицын от участия во встрече отказался, а мотивы своего отказа изложил в письме Рейгану, которое было опубликовано в парижской газете "Русская мысль". Так как в этом письме были затронуты вопросы, выходящие за пределы личных интересов, известный правозащитник, бывший политзаключенный, ныне редактор журнала "Страна и мир" Кронид Любарский написал статью, комментирующую происшествие и отправил ее в единственную русскую эмигрантскую газету в Европе "Русская мысль". Естественно, наша "мысль" говорить о разногласиях с Солженицыным отказалась: табу.

Президенту США Рональду Рейгану, 3-е мая 1982-го года.

Лично; конфиденциально

Дорогой господин Президент!

Я восхищаюсь многими аспектами вашей деятельности, радуюсь за Америку, что у нее, наконец, такой президент, не перестаю благодарить Бога, что Вы не убиты злодейскими пулями.

Однако, я никогда не добивался чести быть принятым в Белом доме — ни при президенте Форде, (этот вопрос возник у них без моего участия), ни позже. За последние месяцы несколькими путями ко мне приходили косвенные запросы, при каких обстоятельствах я готов был бы принять предложение посетить Белый дом. Я всегда отвечал: я готов приехать для существенной беседы с Вами, в обстановке, дающей возможность серьезного эффективного разговора, — но не для внешней церемонии. Я не располагаю жизненным временем для символических встреч.

Однако мне была объявлена (телефонным звонком советника Пайпса) не личная встреча с Вами, а ланч с участием эмигрантских политиков. Из тех же источников пресса огласила, что речь идет о ланче для "советских диссидентов". Но ни к тем, ни к другим писатель-художник по русским понятиям не принадлежит. Я не могу дать себя поставить в ложный ряд. К тому же, факт, форма и дата приема были установлены и переданы в печать прежде, чем сообщены мне. Я и до сегодняшнего дня не получил никаких разъяснений, ни даже имен лиц, среди которых приглашен на одиннадцатое мая.

Еще хуже, что в прессе оглашены также и варианты и колебания Белого дома, и публично названа, а Белым домом не опровергнута формулировка причины, по которой отдельная встреча со мной сочтена нежелательной: что я являюсь "символом крайнего русского национализма". Эта формулировка оскорбительна для моих соотечественников, страданиям которых я посвятил всю мою писательскую жизнь.

Я — вообще не "националист", а патриот. То есть я люблю свое отечество — и оттого хорошо понимаю, что и другие также любят свое. Я не раз выражал публично, что жизненные интересы народов СССР требуют немедленного прекращения всех планетарных советских захватов. Если бы в СССР пришли к власти люди, думающие сходно со мною, — их первым действием было бы уйти из Центральной Америки, из Африки, из Азии, из Восточной Европы, оставив все эти народы их собственной вольной судьбе. Их вторым шагом было бы прекратить убийственную гонку вооружений, но направить силы страны на лечение внутренних, уже почти вековых ран, уже почти умирающего населения. И уж конечно, открыли бы выходные ворота тем, кто хочет эмигрировать из нашей неудачливой страны.

Но удивительно: все это — не устраивает Ваших близких советников! Они хотя и — чего-то другого. Эту программу они называют "крайним русским национализмом", а некоторые американские генералы предлагают уничтожить атомным ударом — избирательно русское население. Странно: сегодня в мире русское национальное самосознание внушает наибольший страх: правителям СССР — и Вашему окружению. Здесь проявляется то враждебное отношение к России как таковой, стране и народу, вне государственных форм, которое характерно для значительной части американского образованного общества,

американских финансовых кругов и, увы, даже Ваших советников. Настроение это губительно для будущего обоих наших народов.

Господин Президент. Мне тяжело писать это письмо. Но я думаю, что если бы где-нибудь встречу с Вами сочли нежелательной по той причине, что Вы — патриот Америки — Вы бы тоже были оскорблены.

Когда Вы уже не будете президентом и если Вам придется быть в Вермонте — я сердечно буду рад встретить Вас у себя.

Так как весь этот эпизод уже получил искажительное гласное толкование, и весьма вероятно, что мотивы соего неприяда также будут искажены, — боюсь, что я буду вынужден опубликовать это письмо, простите.

С искренним уважением

А. Солженицын.

О ПИСЬМЕ А. СОЛЖЕНИЦЫНА ПРЕЗИДЕНТУ Р. РЕЙГАНУ

Александр Солженицын отказался от приглашения Президента Рональда Рейгана на ленч в Белом Доме 11 мая 1982 года. Поскольку ни у граждан, ни у резидентов США нет юридической обязанности принимать приглашения Президента, этот факт так и остался бы личным делом А. Солженицына и Р. Рейгана, если бы А. Солженицын не сделал свои объяснения по этому поводу всеобщим достоянием. Объяснения эти были многократно переданы радиостанциями, в особенности — вещающими на Советский Союз, опубликованы в прессе, включая русскую зарубежную. Поступив так, А. Солженицын не может быть в претензии, что сказанное им будет обсуждаться, в том числе публично.

Я не буду много говорить о тоне письма. Но мне представляется бестактным заявление А. Солженицына, что у него нет времени для "символических встреч" с Президентом. А. Солженицын, очевидно, занят более важными делами. Означает ли это, что, в отличие от него, Президент США затеял встречу с "диссидентами" от скуки, не зная, чем бы заполнить свой досуг? Как следует понимать приглашение к себе в Вермонт, когда Р. Рейган "уже не будет Президентом"? Как выражение

уверенности, что на переизбрание на новый срок Р. Рейгану рассчитывать нечего? Или как любезное приглашение заходить лет через шесть? Надо ли понимать так, что через шесть лет у А. Солженицына найдется время для "символической встречи"? Ведь ясно, что эту будущую встречу с отставным президентом едва ли можно будет рассматривать как "серьезный эффективный разговор".

Наконец, удивительным представляется то обстоятельство, что приглашение Президента отклонено не на основании каких-то слов или поступков самого Президента, а на основании того, что и как писала вокруг этого приглашения американская пресса. После нескольких лет пребывания в США можно было бы уже понимать ясно, что американская пресса не находится в том же отношении к Р. Рейгану, в каком советская находится в отношении к Л. Брежневу.

Но если бы речь шла только о форме отказа, вряд ли бы стоило обсуждать этот вопрос публично. К сожалению, содержание письма более чем соответствует форме.

Трудно поверить, что письмо написано человеком с чувством ответственности, когда читаешь в нем об американских генералах, "предлагающих уничтожить атомным ударом — избирательно русское население", о "значительной части" советников Президента, "финансовых кругов", "образованного общества" США, "враждебно относящихся к России как таковой, стране и народу". До сих пор такое приходилось читать лишь на 9-й странице "Литгазеты", в комментариях Юрия Жукова, да — в последнее время — в телеоткровениях о. Дмитрия Дудко.

Хотелось бы знать источник информации А. Солженицына. Имеет ли он твердые основания для столь серьезных заявлений?

Вполне возможно, что когда-то какая-то американская газета опубликовала мнение какого-то генерала о том, как расправиться с "этими русскими". Публикация бредовых мнений — неизбежная плата за свободу прессы. Публиковались в американской прессе и дикие антиамериканские заявления, а недавно даже было объявлено, что Второе Пришествие Христа уже произошло.

Но А. Солженицын явно дает понять, что он имеет в виду не случайный безответственный бред. Нет, его "американские генералы" намеренно поставлены бок о бок в одной фразе с

”советниками Президента”, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, что это такие генералы, которые не только хотят, но и реально могут уничтожить атомным ударом русский народ.

Но если прав в своем утверждении А.Солженицын, то совершенно прав и Л.Брежнев, устанавливая свои ракеты всех радиусов действия, наращивая число боеголовок. Не смог накормить население — пусть хоть от атомной смерти спасет. Ведь мало нас утешения в том, что А.Солженицын вроде бы отделяет самого Президента от массы ненавистников России. Что может сделать один человек, даже Президент, если и его советники против него, и генералы тоже, и финансовые круги, и образованное общество? Да может быть и сам Президент на самом деле такой же, как и они, и дело тут лишь в старой крестьянской вере в доброго царя и плохих министров? Будет очень нераспорядительно со стороны А.Чаковского не опубликовать в следующем номере ”Литгазеты” цитаты из А.Солженицына в рубрике ”Это говорят они сами”.

Что ж, это дешево стоит — походя сказать злую неправду об обществе той страны, которая дала тебе приют. Завтра с обыском не придут. Я лишь просил бы американцев, читающих письмо А.Солженицына, воспринимать его слова об американском обществе как его сугубо частное мнение, а не как выражение точки зрения ”значительной части” русских.

Но не только о ”значительной части” американцев имеет А.Солженицын нелестное мнение. Оно — хотя и по другим причинам — распространяется и на многих советских правозащитников, иначе говоря — ”советских диссидентов” и ”эмигрантских политиков”, если употреблять выражения, использованные самим А.Солженицыным.

Нежелание поставить себя в ”ложный ряд” с этими ”политиками” и ”диссидентами” названо в самом начале письма, и трудно избавиться от впечатления, что это-то и есть главная причина отказа от приглашения. Думается, что нашлось бы время даже и для ”символической встречи”, если бы эта встреча была ”отдельной”.

А.Солженицын сообщает, что ”по русским понятиям” ”писатель-художник” не принадлежит ни к ”политикам”, ни к ”диссидентам”. Я отрицаю за А.Солженицыным право на монопольное определение того, что является, а что не является ”русским”. Напомню здесь лишь несколько имен русских пи-

сателей, которые не боялись поставить себя "в ложный ряд" с политиками: А.Радищев, К.Рылеев, А.Грибоедов, Ф.Тютчев, Н.Чернышевский, А.Герцен, Н.Огарев... Все они — политики самых различных, подчас противоположных направлений, а последние два — даже "эмигрантские политики". Стоит сказать и о столь часто вспоминаемом сейчас Ф.Достоевском, посвятившем значительную часть своего "Дневника писателя" чисто политическим темам (даже если не говорить о его "петрашевской" юности). Список же русских писателей, которые на нынешнем языке были бы названы "диссидентами", даже боязно и начинать. А.Пушкин был бы в их ряду далеко не первым. Следовательно, "русские понятия" далеко не так уж однозначны, как это представляется А.Солженицыну.

Да и полно — всегда ли так чурается А.Солженицын стоять "в ряду политиков"? Что такое многочисленные выступления А.Солженицына последних лет в западной и эмигрантской прессе: "Коммунизм у всех на виду — и не понять", "Чем грозит Западу плохое понимание России", "Скоро все увидим и без телевизора" и др. — это все художественная литература, *belle-lettre*? Это — не политика? Публичные выступления о радиовещании на Советский Союз — тоже не политика, а художественная литература? Да и само это письмо Р.Рейгану с разъяснением, что будет сделано, "если бы в СССР пришли к власти люди, думающие сходно" с А.Солженицыным — это опять литература?

Значит дело все не в том, что в ряду с политиками, а в том — с какими политиками! И вот тут, к сожалению, приходится поставить не поставленные А.Солженицыным точки над *i*. С кем почувствовал себя А.Солженицын "в ложном ряду"? Например, вот с кем:

С Георгием Винсом — человеком, представляющим за рубежом Церковь Евангельских Христиан-Баптистов, которая сейчас подвергается в СССР самым жестоким ударам властей. В ГУЛАГе сейчас около 150 членов этой Церкви.

С Людмилой Алексеевой — человеком, которого просила представлять ее за рубежом Московская Хельсинская группа, положившая начало всемирному Хельсинкскому движению. В ГУЛАГе сейчас большинство членов Московской группы.

С Петром Григоренко — старейшим участником правоза-

щитного движения в нашей стране, одним из его основоположников, зарубежным представителем Украинской Хельсинкской группы. Вся Украинская группа — сейчас в ГУЛАГе.

С Валерием Чалидзе — человеком, которому доверила право на зарубежное издание "Хроника текущих событий", самый старый и авторитетный орган правозащитного движения. Многие редакторы "Хроники" — тоже в ГУЛАГе.

С Айше Сейтмуратовой, которую послал за рубеж говорить от его лица многострадальный крымскотатарский народ. Народ, сосланный целиком.

Большинство "политиков" — сами в прошлом островитяне ГУЛАГа.

Создается впечатление, что А. Солженицын вообще не хочет быть ни в каком ряду — лишь "отдельный", без неудобных свидетелей, разговор устроит его. О чем же собирался говорить "писатель-художник" наедине с Президентом США? Какой "серьезный эффективный разговор" хотел бы он с ним иметь? Неужели же о связи литературы и кино?

Что касается "эмигрантских политиков", то теперь, когда ленч состоялся, известно, о чем они говорили, ибо они говорили — прилюдно. Прежде всего и более всего — о политзаключенных. О том, чтобы крупнейшая демократическая страна мира сделала все возможное, чтобы помочь преследуемым, спасти погибающих в лагерях — за слово, за убеждения, за веру. В этом разговоре А. Солженицын не пожелал участвовать. Он предпочел сделать так, чтобы мировая пресса обсуждала не знаменательный факт первой встречи Президента США с представителями всех течений советской оппозиции, а разразившийся вокруг его собственно личности скандал.

Два года назад Н. Струве в "Вестнике РХД" обвинил соотечественников в "неблагодарном, а потому и неблагородном" отношении к А. Солженицыну. Он поставил вопрос: чем это объясняется? Его ответ был на удивление прост: "зависть". Почему-то, однако, завидовать А. Солженицыну стали лишь тогда, когда он начал выступать с открыто политическими и определенно тенденциозными заявлениями и статьями, а не тогда, когда он создавал свои книги, навечно вписавшие его в историю русской литературы. Тогда — не завидовали. Тогда — гордились и почитали, перепечатывали на машинке его книги, передавали из рук в руки странички, глотали за одну ночь. Тогда

— садились за них в тюрьму, а другие вслед за ними — все равно перепечатывали и передавали. Уважительную память о тех, кто сам ушел в ГУЛАГ, чтобы солженицынское слово о ГУЛАГе прошло по стране — не грех бы и сохранить. По грустным обстоятельствам нашей страны без них А.Солженицын не стал бы Солженицыным.

Восемь лет назад, в 1974 г. А.Солженицын пожертвовал все свои гонорары от "Архипелага ГУЛАГ" Фонду помощи политзаключенным, носящему в людской памяти его имя. Помощь Фонда — неоценима. Но кому, как не А.Солженицыну, понимать, что человек жив не единым хлебом, и те, кому предназначены деньги Фонда, — не просто "несчастненькие", но заключенные политические, которые отдали свою свободу ради защиты определенных идей. Уважение к этим идеям для них не менее важно, чем материальная поддержка. А для многих — гораздо важнее.

Именно эти люди — на Западе их называют "диссидентами" — эти нынешние, бывшие или будущие обитатели ГУЛАГа просили "эмигрантских политиков" говорить от их имени миру. В том числе Президенту США.

Я бы задал вопрос, прямо противоположный тому, что задал Н.Струве: чем объясняется такое неблагодарное, а потому неблагородное отношение писателя к своим соотечественникам?

В части седьмой "Архипелага ГУЛАГ" А.Солженицын со щемящей откровенностью рассказывает о том, как, читая письма читателей "Ивана Денисовича", он вдруг ощутил, что "за десять лет потерял живое чувство Архипелага".

Мне кажется, все дело в том, что сейчас Александр Исаевич Солженицын потерял живое чувство Архипелага вновь — и на этот раз более глубоко и серьезно.

Мне тоже было тяжело писать это письмо.

20 мая 1982 г.

Кронид Любарский

Редактор бюллетеня "Вести из СССР",
в прошлом — один из распорядителей
"Солженицынского Фонда"

Э. Ильина

КРЕЩЕНИЕ "ВЕЧЕ"

Мне довелось присутствовать если не при рождении журнала "Вече", так при крещении, это уж точно.

Я получила по почте приглашение от Русского Национального Объединения (РНО) присутствовать 30 мая на торжественном собрании по случаю выхода первого номера журнала "Вече". Кое-кто меня еще считал "настоящим русским человеком", поэтому и пригласили на этот торжественный сбор. К этому моменту мне уже известны были лозунги РНО, ничего свежего, все то же: "Самодержавие, Православие, Народность", "Пойдем бить евреев и коммунистов, спасти Россию, и детей их щадить не будем, поскольку, кто же щадит крысят, когда уничтожают крыс".

Моя полемика (в письмах) по национальному вопросу с Вагиным была закончена, и я собиралась на этом собрании задать ему некоторые вопросы.

Две недели я обдумывала и заучивала свое выступление, чтоб не забыть главного, чтоб сказать лаконично, то есть коротко и ясно.

Это был второй день Пасхи. Когда я вошла, зал уже был полон, сидело на всех стульях человек сто — сто пятьдесят, преобладали пожилые и очень пожилые люди, первая и вторая эмиграция, из третьей, пожалуй, кроме меня и Горичевой, да еще Вагина, не было никого.

Я села на свободный стул, перед трибуной, так сказать, заняла позицию на переднем крае. Я знала, что иду дать бой, и знала, что спуску мне не будет, но я ждала диалога, пусть даже неприятного, но диалога. Нет, не оплеухи, — я не предполагала, не могла предположить, что меня так отколошматят, как Ирод

не побивал младенцев на заре христианства, и кто отколошматит? — христиане.

Рядом со мною сидел батюшка, с другой стороны — через два свободных стула — Вагин, я ему поклонилась, он видел, но не ответил, я уже была для Вагина идейным врагом, стоит ли кланяться?

Открыли партсобрание, начался молебен. Священники и монахи в черных рясах и черных клобуках, много хоругвей, икон, длинный молебен и моя осведомленность о конечной цели РНО — *идти бить* нагнали такого ужаса, что показалось, я присутствую на освящении готовящегося погрома.

Долго говорили ораторы, все больше о том, как Солженицын благословил издание журнала, этот факт им казался и "базисом и надстройкой" предприятия и залогом успеха — все это слышалось в их выступлениях вместе с радостью и торжеством, и их можно было понять. Зачитывали выдержки из писем Александра Исаевича, где он всячески одобряет идею издания русского националистического журнала; помощь в смысле редактирования предложить не может, но на широкую его материальную поддержку издатели могут рассчитывать.

Не верилось своим ушам, и думал "народ": не знает Солженицын, с кем связывается (Царь-батюшка не знает, Иосиф Виссарионович не знает). Тогда еще всерьез принимались красивые слова Александра Исаевича: "Великая ли мы нация, мы должны доказать не огромностью территории, не числом подопечных народов, но величием поступков. И глубиной вспашки того, что нам останется за вычетом земель, которые жить с нами не захотят".

И еще все три оратора повторяли один за другим, что теперь на Западе развелось много русскоязычных журналов, не столько русскоязычных, сколько еврейских, позорят, поносят, пакостят Россию, сравнивают с СССР, и вот бескорыстные энтузиасты-патриоты решили дать отпор врагам России и издавать журнал "Вече", название журнала пришло из России, редактор одноименного журнала в метрополии страдает в лагерях за свои национальные убеждения. Евреи сделали в России революцию, теперь убежали все из России и здесь, на Западе обхаивают Святую Русь и русскую историю, и некому заступиться, — так вот на то и РНО. И как резюме и пример вечной злокозненности евреев, Вагин произнес: "Еврей Эдуард Кузнецов назвал православного Машкова стукачом".

Казалось, зал слушает ораторов, замирая от восторга, в благоговейной тишине раздавались одобрительные возгласы во все время выступлений.

Много раз было сказано, что ждет пасхальный стол и рюмочка.

Может быть, для формы спросили, есть ли вопросы, и тут со своими вопросами поднялась я. Я попросила две минуты, председательствующий Красовский обратился к благородному собранию: "Как, можно ли дать две минуты, есть ли терпение, или пойдем за пасхальный стол и за рюмочкой будем задавать вопросы?"

— За рюмочкой! За рюмочкой! — закричал зал.

Но я уже говорила, а Вагин занял место за кафедрой и приготовился отвечать. Дисциплинированная аудитория, как-никак, большинство — офицеры Добровольческой Армии, снова примолкла, готовая слушать.

Я сказала, что хочу задать два вопроса, но прежде маленькая справка, чтобы не было недопонимания: я русская, родилась и выросла на территории бывшей Вятской губернии в религиозной старообрядческой семье, и мне так же дороги интересы России, как и любому из семи членов Мюнхенского Русского Национального Объединения, я тоже за единую и неделимую Россию, но — причем тут Украина? Вы, Евгений Александрович, пострадали за любовь к родине, много лет провели в концлагерях. Там рядом с вами были такие же патриоты из Армении, Прибалтики, с Украины. Скажите мне, почему желать свободы и счастья России и русскому народу можно и нужно, а эстонцам, например, или украинцам нельзя? Этот вопрос возник у меня при чтении ваших статей. И второй вопрос: зная ваших мюнхенских единомышленников, можно безошибочно сказать, каким будет направление вашего журнала, может быть, вы не так предельно-откровенно будете высказываться, как, например, в журнале "Часовой", или вокруг капустного пирога, но эпиграфом каждого номера вместо "Пролетарии всех стран...", написано это будет или нет, но все же будет: "Бей тех-то и тех, спасай Россию!" С.Т. Аксаков писал помутившемуся разумом Гоголю: "Друг мой! Иисус Христос учит нас, получив оплеуху в одну ланиту, подставлять со смирением другую, но где же он учит давать оплеухи?" Тем более ИДТИ БИТЬ. Безусловно, у вас, фанатических христиан, найдутся в России после-

дователи, вы обратите какую-то часть молодежи, но это будет вербовка в армию человеконенавистников, в Черную Сотню. Как же вы, Евгений Александрович, с вашим жизненным опытом, с вашей верой в Учение Христа можете участвовать в таком неправом деле?

...Я хотела это сказать. Но мне не дали. Как только я произнесла слово "Украина", зал взорвался, вскочили со стульев, за моей спиной стали со всех сторон кричать, кричали уважаемые, увенчанные сединами господа, кричали грубо, недостойно, кричали:

— Что, и чернозадым — таким-то свободу?! Узбекам-чучмекам свободу?!

А Вагин, милый, интеллигентный Женя Вагин махнул мне в лицо рукой, как купчиха платочком — мол: закройся, и пошел в банкетный зал к закускам и выпивкам, а за ним и остальные, гремя стульями, крича, возмущаясь: испортила обедню.

Я села на свое место, стараясь успокоиться, не показывать слабость, что мне, сознаюсь, плохо удавалось. Зал опустел, около меня сидела Горичева, подруга Ирины Сеник, не понимающая, что произошло, почему расsvирепели и что такого было сказано. Святая феминистическая простота.

А на банкете русские джентльмены, свидетели моего неудавшегося наскока на Черную Сотню, говорили с возмущением устроителям банкета и издателям журнала "Вече":

— Так русские интеллигенты раньше не поступали.

— Как?

— Так по-хамски обошлись с человеком, не дали мысль высказать, погнали нас, как алкоголиков, к рюмочке. По-хамски обошлись с дамой.

— Извините, это не дама.

— А кто же это?

— Это враг России. Враг номер один.

СПРАВКА.

Журнал "Вече" начал выходить в Мюнхене в 1981 году под редакцией О.Красовского и Е.Вагина и с первых же номеров определился как издание антидемократическое и антисемитское. Именно в этом журнале (задолго до "Нашего современника") впервые была напечатана работа И.Шафаревича "Русофобия". Советские аналоги "Вече" — "Молодая гвардия", "Кубань", "Наш современник".

ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ

ВНЕДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ

В ЧЛЕНАХ
С 1989
ГОДА

А МОЖЕТ, ВЕРНЕМСЯ, ПОРУЧИК ГОЛИЦЫН?..

Вечером 19 августа в Государственном концертном зале имени П. И. Чайковского состоялось открытие Конгресса соотечественников. В Москву по приглашению Верховного Совета Российской Федерации пришло несколько сот представителей российской диаспоры.

Не оспаривая в целом принципы, которыми руководствовались организаторы Конгресса, приглашая участников, отметим все же, что целый ряд виднейших представителей русской эмиграции остались в стороне от этого мероприятия. Их отсутствие, конечно, отразится на уровне задуманной акции. Как нам стало известно, в частности, А. И. Солженицын ответил вежливым отказом на приглашение

организаторов. По другим сведениям, прибытие великого писателя ожидается осенью по приглашению И. Р. Шафаревича.

Утром 19 августа состоялась Патриаршая служба в Успенском соборе Московского Кремля. В программе Конгресса бизнес-круиз Москва — Ленинград — Москва на фешенебельном теплоходе, праздничный концерт в Большом театре. Кроме того, были запланированы два десятка представительных «круглых столов» на философские, исторические, политические темы. Ожидались выступления таких политических «звезд», как Б. Н. Ельцин, А. Н. Яковлев, Э. А. Шеварднадзе.

Наш корр.

Из истории НТС



ЗАРО

ВЫХОДИТ ДИ
Ответственный редактор: Д. ЗАВЖИ

№ 95

15 декабря 1939 г.

Цена отдельного номера: В Югославии — 2 д.
в Америке и на Д. Вост.

КТО ОТСТАЛ — ПОДТ

МОЛОДЕЖЬ ЗАРУБЕЖЬЯ!

В исторические для всего мира и для России дни, когда все
пришло в движение, когда народы отстаивают свое родное на-
циональное «Я», только с болью и горечью можно наблюдать
Российско-
Раст
беженств
речивые
Скв
Движен
За
вождя
венты. Р

Вышел из печати

КАЛЕНДАРЬ-ПАМЯТКА на 1940 год.

Цена — 6 динар (без пересылки)

Заказы посылать по адресу: Югославия. Поштански фак 781,
Д-р Радзевич. Издательство.

Литки

Разные блага
литки...
В новоприсое-
рен начинают
активистов на ад-

Национал-социализм объявил себя
непримиримым врагом еврейства. Но
еврейство не просто внешний враг,
против которого достаточно создать
фронт, вести блокаду. Известную часть
населения Германии составляло ев-
рейство. Объявление ему бескомпро-
миссной войны, конечно, заставило

Опыт разрешения

вопроса о высылении евреев из пре-
делов Рейха. Но подать поездка в дан-
ном случае было недостаточно. Надо
было иметь, куда вести.

До 1-го января
должны быть пе-
Вены и Чехии.
высылаются в асн

ДИН

сче
будущее.
За свободу жи
За землю
ствьями
За раскре
ние рабочих.
Мы
созда

1. Устав и программное положение
2. Брошюра НТСНП — Идеология
3. „За что бороться“

1. Проф. А. Д. Билимович — „Марксизм“
2. Проф. И. А. Ильин — „Творческая идея будущего“
3. Проф. И. А. Ильин — „Основы борьбы за национальную Россию“
4. Никонов-Сморodin — „Красная каторга“
5. „Костер“ № 1. Белград

ЗА РАЗА В МЕСЯЦ
ЛОВ — ул. Аспарух № 37, С

ини. во Франции — 1 фр., в Белии
Устоке — 6 ам. центов; в Австрали

ПЧИТЬСЯ! З

Цены указаны в динарах

Готовится к печати:

II часть курса Национально-политической подг
изучения СССР.
Адрес: Югославия, Београд, А. Родзевич, Почтанск

Опыт разрешения еврейского вопроса

Национал-социализм объявил себя непримиримым врагом еврейства. Но еврейство не просто внешний враг, против которого достаточно создать фронт, вести блокаду. Известную часть населения Германии составляло еврейство. Объявление ему бескомпромиссной войны, конечно, заставило многих покинуть страну. Но, чтобы выселиться, надо иметь куда, на что. Масса германских евреев должна была остаться на месте, сжаться, сокра-

тяться, цепляться за минимальные возможности существования.

Власть, правда, рассчитывала, что к такому-то году еврейство покинет пределы государства, путем медленной, но неостанавливающейся эмиграции. Но присоединение Австрии, Чехии, и, наконец, Польши поставило национал-социализм перед фактом не уменьшения, а роста (можно сказать, катастрофического) еврейского населения в пределах Рейха. Новые миллионы еврейства входили в состав немецкого гражданства.

В связи с этим национал-социалистическое правительство решило приступить к радикальному разрешению вопроса о выселении евреев из пределов Рейха. Но подать поезда в данном случае было недостаточно. Надо было иметь, куда вести.

Решено было найти территорию для выселения миллионов. Такая территория намечена в Польше. Это треугольник между Вислой, Бугом и Саном, площадью в 20,000 кв. клм.,

со столицей в Люблине.

Эта „резервированная область“ должна в короткое время, спешным порядком принять все еврейство из Германии, Австрии, Чехии и Польши. С немецкой методичностью расписан порядок переселения, составлены списки по составам поездов. В начале ноября уже выехали 22,000 евреев из Моравской Остравы и Катовицы. Они направлены в Миско, около Люблина. Естественно, что попадают они сначала в бараки лагерей. Пока силами этих переселенцев пользуются для постройки путей сообщения.

До 1-го января 1940 г. таким путем должны быть переселены все евреи Вены и Чехии. Германские евреи выселяются весной. За ними последуют все евреи Польши. Таким образом, еврейство должно быть по этому плану сосредоточено в „резервированной области“. Своего рода — „Еврейское государство“.

Никаких уклонений от выработан-

ного плана переселения не полагается. Каждый прикреплен к своему транспорту и должен придерживаться следующих правил:

1. Каждый выселяемый имеет право взять с собой до 50 кгр. багажа. Багаж этот должен быть таких размеров, чтобы помещаться в сетке вагона над занятым местом.

2. Приборы и инструменты, необходимые в профессиональной работе, могут быть взяты, если они не очень велики, и могут быть сданы в багаж, если будет место.

3. Рекомендуются взять с собой следующие предметы: два теплых костюма, одно зимнее пальто, один дождевик, 2 пары сапог, 2 пары нижнего теплого белья, 1 шарф, одну фуражку и шляпу, перчатки (по возможности напульсники), платки, носки, рабочий костюм, спиртовку, керосинку, столовый прибор, ножик, ножницы, карманный фонарь, запасную батарею, подсвечник, спички, нитки, иголки, тальк, рюкзак, термос, по-

больше провизии на дорогу (непортящейся).

4. Всякий выселяемый имеет право взять с собой не больше трехсот марок.

5. Освобождение от явки, назначенной каждому транспорту, может иметь место лишь в случае:

а) Если назначенное лицо эмигрирует в какую-либо другую страну. Если данное лицо желает воспользоваться такогорода из 'ятием, оно должно посредством невозбуждающих никакого сомнения документов доказать, что его заявление вполне отвечает действительности. Одной лишь надежды на эмиграцию в будущем, например, регистрация в американском консульстве и т. п. недостаточно. Напротив, срок эмиграции должен быть точно обозначен.

б) Вторая причина, освобождающая от транспорта, суть болезни, делающие путешествие невозможным. Эта болезнь должна быть засвидетельствована официальным медицинским свидетельством.

Таким образом, вопрос о территории для еврейства разрешен. Не совсем ясно, однако, как будет размещено оно на этой территории. Люблинский район один из самых густо-населенных районов в Польше. Его населяет 2 миллиона польских крестьян. Неизвестно, должны ли они быть выселены и уступить свое место в городах, местечках и селах еврейству, или просто уплотниться и потесниться.

Это покажет будущее.

Д. Заборовский

Будущее показало... Оно показало так много и так страшно, что мы не знаем, нуждается ли в гневном комментарии этот материал из НТС'овской газеты "За Родину" от 15 декабря 1939 года? Номер начинается словами передовицы: "...когда народы отстаивают свое родное национальное "Я" и заканчивается снисходительно-одобрительной статьей о депортации, а через два года члены этой партии на штыках народа, отстоявшего свое национальное "Я", войдут в Смоленск...

Это — факсимиле. Для наглядности.

Вл. Новиков

ДОЯРЫ И ДОЯРКИ

The time is out of joint — и уже не в ноябре, а в сентябре "весь народ — и млад и стар — празднует свободу, и летит мой красный шар прямо к небосводу!"

Мой шар, правда, если не лопнул еще, то постепенно выпускает воздух и скукоживается. Поднимаю взгляд к небосводу, а вижу почему-то несвободу: пугч туч продолжается, и победа опять будет за темно-серыми.

Поэтому я молчу. Молчу и извиняюсь. И никак не в силах, дорогая Марья Васильевна, представить в "Синтаксис" "передовую статью": чувствую себя для этого недостаточно передовым. Примите пустячок для конца номера — личное письмо, переходящее в маленький физиологический очерк на мелкую житейскую тему.

В нашей бездарной и прокисшей "Литгазете" с радостью прочел вашу веселую заметку "Звезда над схваткой" (1991, № 33), где вы точно и честно спорите с "лукавой полуправдой" и показываете, что есть эмиграция и эмиграция, метрополия и метрополия. Но понимаете ли вы, что тем самым от читателей и писателей требуете умения считать аж до четырех!

Почти никто не владеет этой простой и в то же время высшей математикой. В основном люди умеют считать до одного и считают, что правда одна (коммунистическая, православная,

русская, азербайджанская и т.п.). К умам однонаправленным я отношу также апатиков и циников, которым *один хер*. (Будь я Лев Толстой, рискнул бы заявить в духе очаровательной математической риторики "Войны и мира", что эта-то циническая "партия" составляет 9/10 всех людей).

Далее следуют умельцы считать до двух (наши – не наши; кто не с нами – против нас). До этой цифры наконец добрался союз писателей: раскололся он на днях. Надо теперь регистрироваться и записываться либо в прогрессисты, либо в супостаты. Мудрствовать лукаво не приходится: предпочитаю быть в одном союзе с Окуджавой и Битовым, а не с Кухановым и Проняевым. Хотя в прогрессивной половинке предостаточно будет людей совсем неблизких и весьма недалеких.

Лично мне мало деления на две политчасти. Поскольку помимо оппозиции "демократы – реакционеры" мне не менее важна антитеза "эстетизм – утилитаризм". Будь при разделе союза не две стороны, а все четыре, я выбрал бы тот угол, где соединились бы прогрессизм и эстетизм. Условно говоря, группа эстетов-антифашистов.

Но ничего, авось дробление пойдет дальше: из полсоюза родится четверть, потом 1/8... Где-нибудь в 1/512 или в 1/1024, может быть, и появятся единомышленники.

Да, заветное "4" недостижимо, как квадрига на коньке Большого театра. Всю жизнь учительствую, преподаю и буду счастлив, если хотя бы одному живому помогу считать до четырех, как самому мне, тугодуму, помог заочно, из вечности Юрий Николаевич Тынянов.

Может быть, надо начинать с младшей группы детского сада? Пишу сейчас книгу-игру под названием "Ура!", где всё кратко четверем. Надеюсь, детский язык доведет до уразумения нашей истории. То мы с криком "Ура!", то с криком "Мура!" А что есть в жизни третье, четвертое?

Не знаю, правда, как буду печатать: замысел мой лучше всего лег бы на раскладное картонное поле с четырьмя цветными фишками-персонажами, кубиком судьбы и множеством приключений на пути от пролога к финалу. Ладно, что-нибудь придумаем, а пока еще можно пожить с рукописью.

Впрочем, это все личное. Я хотел рассказать о доярах и

доярках как явлении международной культурной жизни и одним из фактов *русофонии*.

Лет двенадцать-тринадцать тому назад стояли мы с ленинградским другом у окна его ленинградского дома и смотрели на мрачный ленинградский пейзаж. Во двор вкатился "Форд" и подрулил к соседнему подъезду.

— Опять не ко мне приехали, — задумчиво констатировал хозяин дома.

Тут я по-новому взглянул на него, на себя и на жизнь в целом. Друг был до неприличия талантлив, к тому же все им написанное довольно благополучно печаталось здесь: цензоры (как и прогрессивные критики) не могли уловить опасные семантические оттенки его нестандартного юмора. Но всего этого оказывается мало для настоящей удачи: надо, чтобы иностранцы приезжали — таков признак успеха не мнимого, а истинного!

И вот первый звонок такого рода: итальянская журналистка (с переводчиком на параллельном телефоне) просит меня как специалиста по русскому смеху рассказать ей, с чем этот смех едят.

"Вот так, — думаю, — зря дразнили меня друзья и коллеги, что, мол, каким-то смехуечками занимаешься. А мы тут с этими смехуечками, между прочим, на евроуровень уже выходим".

— Ладно, — говорю, — садитесь в свой "Форд" и катите сюда. Все сокровища отечественного юмора перед вами разложу.

— Да нет, — отвечает донна, — мне уже через час уезжать навсегда в Италию. Вы мне коротко по телефону расскажите, как написать статью о русском смехе. Кто там у вас самый остроумный?

Называю Жванецкого, но чувствую, что ей это имя не по вкусу. Действительно, даже непонятно, как итальянскими буквами записать это "жв"!

— А анекдоты вы собираете? — спрашивает. — Расскажите какой-нибудь.

Слушать анекдоты я и сам люблю, а вот рассказывать — нож острый. Особенно по телефону, да еще в присутствии сотрудника-переводчика, который ведь может понять все правильно. А на дворе-то еще не то застой, не то первые перестроенные лужи.

Ну, рассказал так вяло про Андропова, который анекдоты коллекционирует и уже два лагеря собрал. На том и ариве-дерчи.

Потом с шестнадцатой полосы "Литгазеты", где я иногда бываю, звонит коллега-пародист:

— Я вывел вас на Англию, а Англию на вас.

Назначаю Англии свидание в ЦДЛ. Приходит режиссер документального кино:

— Хочу снять фильм о русском смехе. Как мне его сделать?

Такой интимный вопрос, по моим понятиям, может задавать только Ильф Петрову, Гонкур Гонкуру или брат Васильев другому брату. С солидарной, как говорится, ответственностью за результаты работы. Ну, ладно, у нас не принято, а у них принято. Хоть мы вгиков и не кончали, можем и фильм посочинять...

Еще один звонок из "Литгазеты":

— Сейчас к вам придет лапландская корреспондентка брать интервью.

Приходит, магнитофон включает и задает довольно толковые и трудные вопросы все о том же русском юморе. Выложился за два часа до основанья. К концу разговора понял, что собеседница моя не какая-то там заурядная корреспондентка, более того — газета ее не при чем, это только повод был для интересной встречи. Просто нужна еще одна глава для книги о России.

А знакомая из "ЛГ" потом спрашивает:

— Ну, где же ваше интервью в лапландской газете?

А я даже не знаю, что ответить, и почему-то чувствую себя как-то неудобно.

Это потом уже, гуляя по Женеве, наткнулись мы на большое голубое стеклянное здание, а на вывеске: международная организация по охране интеллектуальной собственности.

"Э, — думаю, — вот как у вас! А на нас, конечно, никакая охрана не распространяется. Нас, дурачков, можно доить, пока доится".

Поймите правильно: я говорю не о тех классных специалистах по России и русской литературе, которых немало на Западе и с которыми мне доводилось беседовать и в Москве, и в Париже, и в Женеве, и в Цюрихе. Я имею в виду массовый тип вральманов и бопре, которые спекулируют самым высоким в России званием — званием *иностранца*.

Они действуют методом опроса и при этом ухитряются сами не видеть ничего. Поразительны по слепоте телефильмы об СССР: как правило, сидит режиссер с микрофоном и выдает какие-то словесные показания из разных людей. Не представляю иностранного зрителя, который из двадцати девяти программ выберет эту тягомотину.

Или вот корреспондент Си-эн-эн купил на доллар рублей, а потом показывает полную авоську продуктов, которые на доллар можно приобрести. Но ведь надо же еще при этом объяснить, что большинство наших граждан получает не более десяти долларов в месяц! Иначе ничего же не понятно.

А филологические дояры и доярки ходят по Москве, опросят десяток-другой наших критиков и литературоведов и таким вот фольклорным методом составляют потом свои диссертации. Соответствующего методу качества. Иные зарубежные слависты очень напоминают худшую разновидность советских литературоведов — "специалистов" по так называемой "многонациональной" литературе народов СССР.

Не потому ли так скудны и приблизительны знания о нашей литературе в широких, так сказать, кругах иностранцев? Ведь как сообщает о наших литературных акциях массовая, неспециализированная зарубежная пресса? Примерно так: "В России много поэтов: Пушкин, Пастернак, Парщиков. Некоторые из них приехали в наш город на фестиваль русской поэзии..." И т.п.

Раньше у зарубежной славистики был в руках крупный козырь: качество нашей литературы она измеряла степенью антикоммунизма и антисоветизма. Критерий неплохой, довольно верный. Но теперь и им, и нам приходится искать что-то более точное и сложное — ввиду полного отсутствия литературы советской и коммунистической. От эстетики слова не уйти. А ее

нет пока — ни у нас, ни за рубежом.

...Пора заканчивать. О чем это у нас речь шла? О доярах и доярках? Да черт с ними, я о них совсем уже забыл.

Я вот сейчас думаю: где пролегает сегодня передний фронт свободной мысли? Что значит быть смелым теперь, когда отрублена голова у нашего любимого оппонента — тоталитаризма? Голова у Тотоши, впрочем, еще вырастет, только называться будет иначе, не по-коммунистически. Как бы нам ее потом опознать, не обмануться?

Лучше, наверное, смотреть с разных сторон. И смелость нужна не общая, а каждому своя. Я, например, свободу мысли вижу в том, чтобы забраться поглубже в собственную душу, увидеть в ней очертания беспутной нашей страны, углядеть в своем нутре все факторы, образующие русскую структуру, все органы — и руководящие, и карательные.

Ведь после того, как стрелка подошла к двенадцати, всего-навсего начинается новый круг.

13 сентября 1991,
Москва.

ОПЕЧАТКА

На первую страницу этого номера, в эпиграф, по вине послепутчевской редакционной эйфории вкралась досадная опечатка и текст следует читать так: "Наше дело (конечно) левое, (но, к сожалению) победа будет за НИМИ!"

М.Розанова

ПЕРЕВОРОТ

(со стр. 4)

...рычаги управления всегда оставались в руках таинственных, но не самых приятных незнакомцев.

Когда-то нашему трехлетнему сыну подарили книжку стихов Сергея Михалкова с такой шутливой надписью: "Его-рушка! Врага надо знать..." Так вот: мы эти фашистские газеты читаем очень внимательно, больше того — мы их коллекционируем. Поэтому сейчас во всех декларациях наших пиночетов явственно слышались знакомые голоса и невольно призадумались: а кто писал им тексты спетых сегодня под грохот прогулок с танками песен — сам Юрий Бондарев или соловей генштаба Проханов?

Переворот называют военным, партийным и кагебешным. Мы бы прибавили к этому еще одно определение — патриотически-черносотенный. Кстати, маленькая деталь, доказательство: запрещены все газеты, кроме "патриотических". И даже если все обойдется и к власти придет законное, избранное народом правительство, то пока не очистится воздух страны от партийно-черносотенного угара, все равно ничего хорошего не получится: нельзя жить на идее превосходства одного народа над другим, на идее придуманного, мифического врага.

Уже танки штурмовали Белый Дом Ельцина. Уже в Москве пролилась кровь. Русские солдаты убивали русских демократов. Нам хотелось бы спросить заступника русского народа, писателя Валентина Распутина, самого значительного человека среди подписавших "Слово к народу" ("Советская Россия", 23 июля): неужели он не чувствует связи между своими званиями и сегодняшними событиями? Неужели эта кровь не жжет его сердце?

P.S.

Сегодня 22 августа. Утро началось ликующим голосом из Москвы: "Поздравьте нас: мы стали европейцами! Победа!" Мы счастливы. Впервые за всю советскую историю в эти три дня свобода и демократия не дарованы нам сверху добрым царем, как это слегка было при Хрущеве и Горбачеве (ведь это

Горбачев пожаловал стране гласность), а защищена самим народом. Нечисть разбежалась. В свете дня растворились летучие мыши: премьер-министр, вице-президент, министр обороны, министр внутренних дел, глава госбезопасности и т.д. Выяснилось, что все они заговорщики и государственные преступники. Ну и хорошенькой же компанией окружил себя Президент!



А. Синявский — итальянскому журналу "Экспресс"

Несколько лет назад я написал книгу под названием "Основы советской цивилизации". Книга уже издана на разных языках, а сейчас готовится русское издание. Это не история советского общества, а скорее его метафизика. Так вот, когда я заканчивал эту книгу, уже началась горбачевская перестройка. И тогда издатели попросили меня приписать еще одну, заключительную, главу, где были бы обозначены перспективы модной тогда перестройки. И я эту главу дописал. Она называется: "Можно ли перестроить пирамиду в Парфенон?" Речь шла о египетской пирамиде как художественном символе советской системы, а пирамида — это сооружение очень мощное, монументальное и лаконичное, как выстрел. Наверное на земле нет более величественных, нежели египетская пирамида, сооружений. Но при всей необозримой (от моря и до моря) громаде камня, полезное пространство пирамиды чрезвычайно мало: крохотная погребальная камера, где лежала мумия фараона. А современную западную цивилизацию я сравнивал с греческим Парфеноном — созданием прекрасным и крайне демократичным: вспомните его колоннаду, где ни одна колонна не тащит одеяло на себя, а всем предоставлены абсолютно равные права.

Аналогия с современностью была весьма прозрачна: можно ли пирамиду переделать в Парфенон? Можно ли советскую цивилизацию несколько перекроить на слегка демократический, чуть-чуть западный манер? А в пирамиде заложена такая великая инерция, что ее можно только взорвать, но тогда она, разваливаясь, как разваливались гигантские империи, погребет под собой многие народы.

Сегодня победили демократы. Я счастлив. Но мне все вре-

меня хочется спросить: а насколько они демократичны — мои любимые демократы? Какой процент парфенона в их душах? И всю ли пирамиду они из себя исторгли? Меня, как это ни смешно, волнует судьба компартии. Разве можно запрещать какую-либо партию? Отделить от государства — да, необходимо, но так, чтобы верующие в эти идеи старички и старушки в скверике около домоуправления могли их спокойно обсудить. И можно ли закрывать газеты? И ловить ведьм? И спрашивать: почему ты не пошел на баррикады? А такое уже случается, что очень напоминает анекдот сталинских времен. Вопрос анкеты: чем вы занимались до 17-го года, а если не сидели, то почему?

Вывод? Строительство Парфенона необходимо вести умело и крайне осторожно. Без кровопролитий, без гражданской войны, апеллируя не к эмоциям, а прежде всего к простому здравому смыслу, который, по счастью, тоже присущ людям.

25 августа 1991 г.



15 ноября.

Этот номер "Синтаксиса" делался мучительно долго: я сложила его еще в конце июля и только начала печатать тираж — 19 августа! переворот! — до журнальчика ли здесь?

Трое суток во всем мире любой русский, независимо от чина-звания был предметом общего интереса и должен был в меру своего разумения комментировать события. Молва утверждает, что только два русских писателя отказались отвечать на вопросы журналистов — Анатолий Рыбаков и Александр Солженицын — не можем, сказали, нет необходимой исчерпывающей информации... Да и вообще — еще не вечер...

На третьи сутки переворот оказался недоворотом, наступили дни эйфории, "Синтаксис" отправился в типографию (т.е. в соседнюю с редакцией комнату), главный и единственный редактор встал к печатному станку и через 40 минут на редакторский стол легли первые оттиски с радостный девизом: наше дело левое! победа будет за нами! А из Москвы звонили друзья и ликовали, что российское рабство кончилось и на баррикадах Белого дома мы вернули себе честь и достоинство.

Итак — три дня переворота, три дня эйфории, а затем начались сомнения: а демократы ли победители? Может быть они не демократы, а всего-навсего партийные консерваторы, что, конечно, лучше, чем партийные реакционеры, но за что боролись? И насколько свердловская мафия прогрессивнее днепропетровской? И можно ли грабить награбленное? И не восходят ли все эти вопросы к самой природе советского государства, способного, даже разрушаясь, еще множество раз воспроизводить себя?

М.Р.

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

<i>М. Розанова.</i> Переворот... ..	3
<i>Вл. Новиков.</i> Русофония	5
<i>О. Давыдов.</i> София премудрость, но только не божия	17

В САДАХ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

<i>Игорь Померанцев.</i> Баскская собака	37
------------------------------------------------	----

СВОБОДУ ПУШКИНУ!

<i>Т. Толстая.</i> Сюжет	100
<i>Е. Шальман.</i> А все-таки это Пушкин!.....	110

ДРУГИЕ БЕРЕГА

<i>В. Линецкий.</i> Из Петербурга на Запад. Смена литературных мифов	119
<i>Зиновий Зиник.</i> Письма из Дублина	127
<i>С. Арсантов.</i> Цыпленок жареный	138
<i>М. Розанова.</i> Звезда над схваткой	146
<i>И. Ефимов.</i> В защиту Владимира Емельяновича	153

ТУРЕТЧИНА

<i>А. Синявский.</i> Открытое письмо А. Солженицыну	159
<i>А. Солженицын.</i> Письмо президенту Р. Рейгану	163
<i>К. Любарский.</i> О письме А. Солженицына президенту Р. Рейгану	165
<i>Э. Ильина.</i> Крещение "Вече"	171
Из истории НТС	176

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

<i>В. Новиков.</i> Дояры и доярки	183
<i>М. Розанова, А. Синявский.</i> Переворот	189



Цена номера 75 фр. фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 260 фр. фр.

Пересылка за счет подписчика.



M. R.